

ВЕЩАЯ ДАРЬЮШКА

Жила-была старушка по имени Дарьюшка. Была она одинокая, ни детей не имела, ни семьи, ни родственников даже самых дальних, перебивалась с хлеба на квас в маленьком домике на окраине Барнаула между Третьим и Четвертым Прудскими переулками, по нашей улице.

До выхода на пенсию работала Дарьюшка на дезостанции, успешно справляясь с ежемесячным планом уничтожения крыс, тараканов и прочей нечисти, согласно заявок общепитовских точек, детских садов да общежитий. За труд свой к праздникам получала небольшую премию — рублей десять-пятнадцать, так и жила на зарплату с добавкой — а летом еще на своих овощах с огородика — в собственном доме о две комнаты с кухней, одна-одинешенька, и горя не знала. На пенсию вышла, оказалось пособие по старости до смешного малым, честно говоря, вовсе не прожиточным: двадцать два рубли без пятнадцати копеек, тут уж делать нечего, пришлось пускать квартирантов в одну комнату за десять рублей в месяц.

От постной жизни начали сны ей вещи сниться. Однажды рассказала ближней соседке Анне Фроловне, будто привиделся ночью академик научный, да не один, с важным генералом в придачу.

Академик совсем невзрачный, дохленький такой, сутулый, чуть ли не горбат, а вот умеет так ногой специально топнуть, что Америка той тряски сильно пугается. Будто бы топнул опять академик-герой ножкой сухонькой, землю встряхнул знатно, что вихорь черный поднялся до самых небес

и давай в округе заборы ломать, деревья валить, провода электрические рвать; генерал тому порадовался, налил академику стопочку коньяка армянского. Стоят они, выпивают — празднуют победу. А генерал из себя ничего, справный мужчина. И говорит академик тост: пусть бы, дескать, всегда мне ножкой топтать по родной земле приходилось! Дабы свои заборы ломались от ударной волны ядерной, а не чужие стены, и тем самым обходиться без международных конфликтов. На что генерал ему ответил: «Куда тебе скажут, штафирка, туда и топнешь! Пей, давай, не умничай!», на что академик, конечно, обиделся, а коньяк все одно выпил, потому что любил очень.

— К чему может быть такой сон?

— Несуразное видение, — подумав, высказалась Анна Фроловна, — ни к селу ни к городу, совершенно бессмысленное. Ну, сама рассуди: пришла бы ты, допустим, к нам в гости, налил бы Кузьма коньячку армянского, пусть даже пять звездочек, закуску на стол выставил, и вдруг обозвал тебя штафиркой, разве бы стала пить с ним коньяк?

— Еще чего не хватало, — нахмурилась Дарьюшка.

— Ну вот. А тут академика — штафиркой, а он бы, значит, вам улыбался, заздравно чокался, коньяк тот лакал и не поперхнулся? Черте что, несурязица сплошная.

Однако Дарьюшку сон не отпускал, измучилась, голову ломая так и этак, пока не сообразила, что видение прямо в руку шло: ведь, и правда, зачастили последнее время в их сибирской природе небывалые прежде землетрясения. А коли тряхнет земельку под ногами сегодня, жди в скорости бури черной, несущей тонны чернозема с поднятой целины кулундинской, казахстанской, семипалатинской, даже если полное безветрие на дворе стоит. Начала Дарьюшка ураганы предвещать, уговаривать соседок не вывешивать после тех трясений малозаметных стирание белье в огороде сушиться: «...унесет обязательно завтра вместе с веревкой к черту на кулички, не найдете бельишко, а коли същите, так будет черное, придется потом два раза перестирывать». И точно, подтверждались слова ее тютелька в тютельку, словно и впрямь академик-герой топал где-то по родной земле. Стали соседки Дарьюшку вешей кауркой величать ради смеха.

Тогда же сделали с ней на диво приветливы сестры-богомолки, снующие туда-сюда по церковным делам день-деньской проворными мышками-норушками, на старости лет, будто близняшки, хотя Марфа старше Екатерины лет на пять. Обе согбенные, от постов истощенные до крайности, в темные одежды с головы до ног облаченные, да укутанные настолько плотно, что в жаркую летнюю пору невольно сочувствием проникаешься: как бедолаги не сгорели, не задохнулись в черной упаковке шерстяной? Одни глаза из-под низко повязанных платков истово горят, фанатично. Закружились вокруг Дарьюшки, принялись с двух сторон уговаривать завещать имущество: «А мы за тобой, как заболешь, ходить станем, призреем, причастим, схороним по всем правилам, службы за помин души батюшка справит наилучшим образом, так что митрополит позавидует, молитвы поминальные читаться будут до скончания века по рабе божьей Дарье».

Усомнилась пенсионерка: не рановато ли? Вроде жизнь организму покуда терпимая, нога правая сильно побаливает с утра, а днем расходишься, так и ничего, особенно если рюмочку где в гостях подадут, то и спляшешь веселья ради. Напомнили тогда сестры во Христе с укором про игольное ушко, через которое верблюду легче пролезть, чем скупому в рай попасть, на что Дарьюшка ответила суховато, что верблюдов тех, по слухам,

плюющих в лицо человеку целым ведром слюны, слава богу, в глаза не видывала. Не зналась с подобным скотом, не из нашей они жизни — в городе нынче и козы днем с огнем не сыщешь, свиноушки ни у кого нет с куренком. По велению родной партии полностью живность изведена и уничтожена. Так что ей эти присказки совершенно ни к чему, ибо смысла они реального не имеют.

Следует уточнить: из себя Дарьюшка не велика фигура — росту низенького, одежду предпочитает немарких цветов ближе к линялому, донашивает все из прежнего, нового ничего давным-давно не покупает, и на вид самая что ни на есть обычная старушоночка-прихожанка, но церковь посещает лишь на Крещение, когда полночи за святой водой в очереди стоит, еще на Пасху сходит — куличи освятить, и достаточно. А главное, помирать не думает собираться, хотя на здоровье каждый день соседкам жалуется. Укорили богомолки Дарьюшку недостатком истинной веры, намекнув, что при окончательном расчете на том свете много угольков достается тому, кто в церковь не ходит, о смерти неминуемой ежечасно не размышляет, и к ней заблаговременно не готовится. Но разъясните, добры люди, какая после многолетнего стажа на дезостанции с дуствованием отхожих мест, может возникнуть у человека вера в райское блаженство?

Отослала сестер-богомолок по делам их духовным бегать далее, а сама, конечно, призадумалась вечером: возраст уже, и правда, серьезный, пенсионный: кто упокоит, поминки закажет (похорониться-то мечтала похристиански, раз во младенчестве крещенная), кто опять же воды подаст на смертном одре? Жила у нее на тот момент прачка Полина, женщина весьма здорового поведения. С лица воды, конечно, не сильно напьемся, зато компаниями развеселыми не обремененная и по кинотеатрам шибко не бегавшая. Иногда в воскресенье на утренний сеанс сходит, вернется, все обскажет в подробности, как, что и почему на экране показали, одним словом — приличная женщина, от бедности своего угла не имеющая. За рабочий день ухрюпается квартирантка в прачечной, настирается там до отвала, придет домой — начинает Дарьюшке помогать: ужин готовит, печку топит, снег кидает или огород поливает, носки вяжет, да мало ли какой работы в хозяйстве? А отдыхает, как и Дарьюшка, сидя за столом, глядя на улицу через окошко, спектакль по радио слушая и семечки щелкая. Главное — пьянки-гулянки абсолютно ее не волнуют, живет себе и живет в степенной здравости, никуда не торопится.

Договорилась с ней Дарьюшка взять на себя последние хлопоты, за это подписала завещание на движимое и недвижимое имущество на ее имя, у нотариуса заверила, не поленилась, по закону оформила, как меж честными людьми делать полагается. И даже порадовалась втихомолку за квартирантку: так-то одинокой, без крыши над головой трудненько замуж выйти по нынешним послевоенным обстоятельствам, а тут окажется со временем женщина в своем домике законном, то, может, и найдется кто подходящий. Умрет Дарьюшка, похоронит ее Полина чин чинарем и, ради бога, пусть своей семьей тогда обзаводится. Что для осуществления этих мечтаний надобно самой отдать концы, нимало не расстраивалась, хорошо ведь простым людям известно — когда время придет, никто спрашивать не станет, хочешь ты дальше жить или надоело в белый свет зенки пялить. Дезинфектор тоже небось не шибко расспрашивает тараканов, как они на свое будущее смотрят. Раз попали в план работы, значит, сдохнут сегодня, никуда не денутся.

Опыт всей предыдущей жизни говорил Дарьюшке, что верхний боженька относится к собственным созданиям не добрее, чем специалист

в резиновых перчатках к мухам в отхожих местах: не глядят при этом ни на какое их поведение: ни на хорошее, ни на плохое. Дедушка выучил Дарьюшку Писание читать, псалмы петь, а где тот дедушка, где тятя с мамой? Где сестренки с братишками и прочий деревенский люд, рабы божию? Пришли дезинфекторы-комиссары Ленин-Троцкий со Сталиным, вымели род на лесоповал, отдали упырям-уголовникам на съедение, никого нынче в живых не осталось, одна Дарьюшка случайно вырвалась — может, одна из тысяч, бросившись от насильников в широкую северную реку, холодную, как Ледовитый океан, туда и втекающую.

Что касается смерти, здесь главное, чтобы в гробу пристойно лежать, чтобы все соседи пришли проститься, духовой оркестр похоронный марш сыграл и возле дома на выносе, и на кладбище, чтобы у провожающих слеза ненароком навернулась, на поминках вспомнили добром, тогда и хорошо будет, значит, жизнь прожита не зря. Что до прочего — суета сует и всяческая суета, так в Писании дедусином верно было сказано. Раздумается-размечтается Дарьюшка о своих достойных похоронах, что будет лежать она вся в белом, чисто невеста, пусть и в церкви отпоят, если денег на то у Полины достанется, и необыкновенно радостно на душе сделается: спокойно, умиротворенно, слеза чистая пробьет, аж всплакнет втихомолку от счастья. А следом встрепенется старушка, спохватится: пенсии в последнее время ни на что не хватает, как бы промашка не вышла с белыми одеждами, заветный денежный платочек весь растаскала на самые насущные нужды.

ПАМЯТНОЕ УТРО

Лето выдалось чересчур лихое — оттого и случился полный разор в хозяйстве. Вдобавок к ураганам нагрянули грозы июльские с мольнямими в полнеба, отчего многие огороды оказались выбиты под корень. Издревле знамо, что наказание небесное полосой ходит: у одного ничего не тронет, у другого живого места не оставит, так бывают и у дезинфектора огрехи в работе, чай не железный. Картошка на полях сильно пострадала, значит — жди: цены взойдут осенью. Власти на кукурузе помешались, из Москвы сибирские колхозы заставляют новую культуру выращивать под страхом военного коммунизма, хлеб из магазинов пропал, снова очереди люди затемно у дверей занимают, задолго до открытия, стоят, ждут, Никиту ругают, анекдоты про него рассказывают. Много анекдотов, и все на одно лицо, словно бы под копирку сделаны. Карточек в мирное время еще не ввели, но дело к тому движется семимильными шагами.

Памятное утро выдалось солнечным, спокойным, земля прежде не тряслась, и день обошелся без светопреставления, лишь ближе к вечеру заморочало на горизонте со всех сторон сразу. Быстро-быстро напозла с запада страшным дьяволом туча черная, американским атомным авианосцем затмила белый свет, поднялся ветер ниоткуда, резко стемнялось, дождище ливанул, морозным хладом с неба дохнуло. Быть граду! Сломя головы кинулись жители в огороды: кто половиками прикрывать посадки, кто старым хламом, да хоть пачкой газет «Правда», побьет ведь последнее, придется зимой лапу сосать.

На двухэтажном казенном бревенчатом доме, что по Четвертому Прудскому стоит уже лет пятьдесят, не меньше, ударно громыхнула крыша от налетевшего шквала: раз, и другой, и третий. Оторвались железные листы с одного ската от досок, и давай на ветру трепыхаться, скрежеща большой железной птицей, что изо всех сил мечтает взлететь в поднебесье.

Без крыши нынче остаться горше, чем без овощных запасов, лучше сразу окончательно и бесповоротно погореть, чем под непрерывными дождями гнить многие лета. Где железа листового достать? Или шифера, да хоть рубероида какого, гвоздей? Ничего же нет в магазинах.

В доме том две семьи жили сверху, две снизу. Выскочили на улицу, кто в чем, не до огородов им стало, когда недвижимость последняя на небеса улетает: бегают бабы со старухами, кричат, переполох подняли, лестницу тащат ставить. Поставили. Бросился наверх фронтовик Скурихин, самый безрассудный, а потому против всех послевоенных правил одинокий в гражданской жизни человек, с полным ртом ржавых гвоздей и молотком наперевес. Только на крышу выскочил, гвоздь изо рта дернул, молотком нацелился лист под собой обратно к доске прищипить, тут же очередной порыв рванул, вся крыша вмиг вздернулась, поднялась на воздух, лязгая Змеем Горынычем, да как наподдаст железным хвостом фронтовику, тот аж выше конька и подлетел. Лестницу от дома прочь отбросило. На дорогу падая, переломилась пополам. Кувыркнулся в воздухе фронтовик котом бывалым, с крыльца пнутым, хорошо хоть на край крыши грохнулся, а не вниз ушел. Плашмя, всем телом, руками, ногами, лицом об железину трахнулся. Распластался, лежит, хочет весом полотно на месте удержать.

Куда там, легок больно пьющий без закуси человек, худой, но боец прирожденный, пока жив — сражается молчком: с морды кровь хлещет, а гвоздей изо рта не обронил. Молотком колотит, нет, не успел наживить, опять хлобыстнуло, подкинуло, ударило и еще, и еще. Издевается железный дракон над фронтовиком, ровно фашист футболит, пинает его так и этак в воздухе, вниз пасть не дает. Уж, кажется, вся крыша, все листы ржавые мокры стали от крови, а не от дождя.

Видя такое дело, бегавшие внизу закричали в голос, что крыша улетит и фронтовик с ней, да разобьется. Заохали бабки, завыли, схватили растрепанные головы: «Что же это такое делается? А? Божье наказание, не иначе!»

Крышное железо реяло выше дома гремящим полотнищем, оторвавшись повсеместно до самого конька, подкидывая фронтовика вверх, ловя и снова подкидывая. Бывалый повар так орудует сковородой у себя на кухне, переворачивая блин на лету, с пылу с жару.

— Ох, убьется!

Но фронтовик помирать не собирался: летал, бился и ждал минуты, когда шквал хоть немного стихнет, гвозди у него по-прежнему крепко сжаты стальными зубами, молоток держит наизготовку. Таких фронтовиков яростных по тому времени кругом (в смысле: субботним вечерком у винного ларька) пруд пруди, да каждый первым готов в атаку рвануть, все единым духом живут.

За войну Скурихин Иван поднялся из рядовых в капитаны, ротой bravо командовал не в силу успешного выбора диспозиции (карту еле читал), а за счет особенной своей холодной ярости на поле боя, которую умел сдерживать внутри до нужного момента. Зато, когда следовало ударить, бил своей ротой так, что вонючий смрадный фарш из немецких батальонов делал. Пришел с фронта победителем, жена перед ним встала на пороге, опустив руки и голову, дрожа осиновым листом, винясь, что в военное лихолетье сходилась с непосредственным начальником по службе и жила с ним целый год, так тут же, тут же выгнал вон и жену, и дочь, минуты на сборы не дал. К чертовой матери!

Предупреждали соседки: ты накорми сначала, приголубь, потом кайся. Нет, убоаясь, что со стороны кто первый доложится, тогда вояка

без разговоров прибить может, а бывали ведь случаи, скажете, нет? То-то и оно, что бывали. Срочным образом пришлось гражданочке к родителям эвакуироваться в другой город. А фронтовик остался жить фон-бароном в казенной комнате один-одинешенек, и вечно в свободное от работы время в какие-нибудь передраги вляпывается: то мирит кого по пьяной лавочке, или напротив, встает на защиту, когда видит, что бьют втроем одного. А может, и за дело учат уму-разуму, за воровство, к примеру. Так нет, не спросясь, летит заступаться по дурной привычке к справедливой честности, а морда всегда здорово в ссадинах по выходным бывает.

В понедельник с семи часов утра Скурихин — первоочередной посетитель банного отделения, затем парикмахер стрижет ему четкий полубокс, бреет опасной бритвой с роскошной белой пеной, одеколоном брызнет, и пожалуйста: чистый, аккуратный служащий, при галстукке, идет в плановый отдел завода проектно-сметную документацию на счетах считать, хотя у самого четыре класса церковно-приходской школы. Но до утра понедельника дожить еще надобно, пока субботы вечер, а уже вся морда расхристана в кровяку, летает над крышей Иван Евсеич, спасает мирную жизнь и справедливость от природного издевательства.

Пока летал, успел разглядеть на соседнем квартале в огороде женщину меж помидорных кустов, которая набрасывала на них домотканые кружки, спасая будущее пропитание от крупного с голубиное яйцо града, громко секшего ржавую крышу, что вознамерилась нынче, пользуясь подходящим моментом, сорваться куда подальше, в далекую распрекрасную жизнь, где бы ее красили хоть раз в три года суриком. А где его взять, тот сурик, в кукурузном государстве всеобщего и поголовного дефицита? Чай, не подсолнух, на огороде не растет. «Ловкая какая! — успел восхититься фронтовик, распнутый в очередной раз хвостом железной птицы, приглядываясь к далекой фигуре и белым оголенным выше колен босым ногам. — Надо будет наведаться как-нибудь в гости, познакомиться честь-честью, а то сплошной непорядок: ходим друг мимо друга, киваем иногда, а по имени не знаем. Нехорошо».

Упал опять и, словив момент, принялся быстро-быстро-быстро колотить вокруг себя по кругу гвозди, вгоняя их с двух ударов. Не успела гроза толком стихнуть, лед еще лежал на улице сплошным слоем, длинными полосами, а мальчишки кидались им, норовя зафинтилить товарищу прямо в лоб, тогда шишка обеспечена, а синяка не будет, как направился фронтовик в новом шевиотовом костюме при галстукке к домику Дарьюшки с ополоснутой, но не засохшей толком мордой, будто кто его желал изо всех сил обогнать, а он про то прекрасно знал и очень торопился успеть первым под раздачу.

И вот, буквально за несколько следующих дней так у них серьезно закрутилось, что в результате осталась Дарьюшка при своих интересах без доверенной квартирантки. Вышла прачка замуж в тридцать пять лет за фронтовика, гвардии капитана, ныне начальника планового отдела Скурихина, и даже впоследствии умудрилась родить ему ребенка. Проводила Дарьюшка жиличку с квартиры по-доброму, приданое выделила немалое: две подушки, три стула с высокими спинками. Три — для перспективы, намечая наследника, а сменных комплектов спального белья дала два, зато оба почти новые, всего раза три стиранные, вручила для счастливой семейной жизни, прекрасно сознавая, что простой женщине сегодня замужем лучше оказаться, чем с ее недвижимым наследством неизвестно когда.

Осталась без наследницы, а завещание отменять не стала, пока другого человека подходящего не найдется.

Собрала Дарьюшка с гряды огурцы все подряд, какие выросли: и помятые, и маленькие — отнесла на базар, простояла день, выручила три рубля. Разве это деньги? Ехала Дарьюшка на трамвае с базара вместе с дальним соседом Павлом Петровичем, живущим на другой стороне квартала. Тот простоял день на барахолке, торгуя задорого большую хорошую перину, но не взял никто. Теперь вез ее обратно: объемистую, тяжеленную — и был очень сердит. Павла Петровича все звали меж собой Хромым, жену его — Хромой, а вместе — Хромыми, потому что по отдельности они на улице не появлялись, ходили всегда парочкой, и в магазин куда, и в город, и на работу вместе передвигались, в такт хромая на одну и ту же, левую, ногу, каждый свою.

Сначала Дарьюшка удивилась, что Павел Петрович подошел к ней на остановке без жены, с периной, а потом сделалось стыдно — забыла, что соседка три месяца как умерла.

Хромой работал портным в инвалидной артели, основной доход имея с пошива шапок на дому. Ранее, к тому же, еще и скорняжил помаленьку, а когда кролей запретили держать, начал шить простые матерчатые шапки, но и на них имелся большой спрос, ибо в магазинах нет ничего абсолютно. А с базара страшно брать: неизвестно, кто носил и чем болел, как-никак Хромой делает из нового материала, так что к нему многие шли поспособствовать незаконному промыслу. Участковый милиционер о том прекрасно знал, смотрел на подпольное дело сквозь пальцы, ибо если Хромой шить не станет, то кто? Раз на барахолку свои изделия продавать не носит, значит, не спекулирует, сидит себе дома, шьет вечерами и ночами на заказ, а днем в инвалидной артели работает. Вот если бы кто пожаловался в милицию, дескать, плохо ему шапку сшили на дому, написал бы заявление, то имел бы Хромой крупные неприятности в виде тюремного срока. И не за то, конечно, что плохо пошил, а за то, что вообще шил, частным незаконным образом создавая ячейку капитализма. Никто однако не жаловался: хорошо Хромой работал, грех жаловаться.

Пока ехали соседи в битком набитом трамвае, стояли рядом. Хромой, прижав перину к стенке, думал о чем-то своем. Когда вышли на остановке, сказал: «Все, хватит с меня, больше на барахолку не пойду. Раз ничего не берут, чего зря время терять?» Дарьюшка лишь пожала плечами, показывая, что хозяин — барин, а ее дело — сторона. С трамвая шли вместе. Хромой тащил перину, надрывался, возле его дома молча кивнули друг другу головами для расставания, Хромой вдруг угрюмо спросил:

— А тебе, Дарьюшка, перина, случаем, не нужна? Хорошая перина, высокая, пуховая, настоящая семейная. Года нет, как пошил. А жаркая какая, с ней печку можно сильно не топить, в нее провалишься, и никакой мороз не страшен. Думал — на всю жизнь хватит, а жизнь-то семейная возьми и кончись. За сорок рублей отдам. Возьмешь?

— Смеешься, что ли? У меня за душой и в кармане одно и то же: три рубля мелочи, на базаре огурцы продала.

— А за три рубля возьмешь?

«Видно, здорово умаялся человек таскаться со своей периной, — подумала Дарьюшка. — а спать без жены на мягком не хочет — тоска съедает».

— Коли решил продать, то возьму, да смогу ли унести, тяжеленная, небось?

— Я тебе ее сам сейчас донесу, — обрадовался Хромой.

И правда, в дом занес, на кровать положил, показал, как взбивать надо по утрам, чтобы не слеживалась, стояла высоко и за день просыхала. После чего взял деньги, ушел задумчивый, хромая, как показалось Дарьюшке, ниже прежнего, не сказав: «До свидания». Перина оказалась мягкой да жаркой, настоящая, точно — без одеяла спать можно даже пожилому человеку, так в ней вся и тонешь. Спустя неделю или дней десять от силы стучится Хромой в форточку с улицы. Дарьюшка к окну подошла, форточку открыла.

— Здрасьте!

— Здрасьте!

— Ну, как перина?

— Хорошо гREET, спасибо.

А вид скучный у Хромого, как тот раз, когда уходил. Неужто решил обратно забрать? Старушечьи кости быстро к мягкому привыкли, жаль расставаться будет. Зачем продавал тогда? Так дела не делаются. Дарьюшка слегка осерчала.

— А выходи, Дарьюшка, за меня замуж, — говорит вдруг Хромой.

— Зачем это?

— Будем вдвоем жить.

«Как человек по своей перине скучает, даже жениться готов, лишь бы на ней дальше спать», — сообразила Дарьюшка.

— По перине соскучился, что ли?

— Я же серьезно говорю, ты мне калитку открой, я зайду, сядем рядком — поговорим ладком.

Тут вещь Дарьюшка проникла в суть дела: сама она виновата, больше винить некого. Размечталась на старости лет о белых одеждах, что будет, как невеста, аж виделось ей это, вот до небес и достучалась. Ни о чем ведь прежде высшие силы ни разочка не попросила. Решили, видно, там к ней снизойти хоть в данном вопросе, но так как знают наверху, что денег на похороны у нее все равно нет, решили венчание устроить для старой девы за счет хромого вдовца Павла Петровича. Заставили беднягу с периной таскаться на барахолку, ее упрашивать купить за три рубля, а теперь вот предложение делать. И все ради того, чтобы могла она в белых одеждах оказать ся. Глянула искоса в трюмо Дарьюшка: боже, стыд-то какой!

— Замуж идти планов у меня нет, тут и говорить не о чем. Раньше было рано, а теперь навсегда поздно стало. Извини, Павел Петрович, зря ты по этому случаю пришел.

Хромой покраснел, набычился. Не ждал человек отказа, рассерчал, а стоит, не уходит. Словно через силу ее уговаривает, еле языком во рту ворочает:

— Чего так? Вдвоем небось сподручней старость коротать. Я шапки хорошо шью, меня знают, голодать не придется.

— Не в этом дело. Иди домой с богом.

И закрыла форточку. Раскрасневшись лицом, Хромой впрысочку зашагал обратно. Страшно обиделся человек, жалко его Дарьюшке. Хорошо хоть не понимает, какую дурную работу заставили сверху делать по ее вине и глупости.

— Что, — спросила Анна Фроловна при соседской встрече, — говорят, дала Хромому от ворот поворот?

— А к чему народ смешить? Он — ясное дело, по перине своей соскучился. А мне зачем? То-то и оно, что незачем.

Так чуть не вышла Дарьюшка сверхъестественным образом замуж за какие-то три рубля базарным серебром, хотя многие соседки искренне дивились тому, что не вышла. Сама же она прекрасно понимала: будь у нее

в тот день рублей хоть с полсотни денег, умерла бы и похоронена была по всем правилам сердобольной Полиной, в белых одеждах с музыкой и слезами. А так, по бедности, — жить осталась.

ЗА НОЧЬ ДОМ ПОДНЯТЬ И ПЕЧЬ ЗАТОПИТЬ

На своем законном квартальном месте, что между Третьим и Четвертым Прудскими переулками, Дарьюшка объявилась тихо и неприметно, как полагается в подобных обстоятельствах — ночью, лет пятнадцать назад, а если точнее, в августе-месяце.

Вот ровно из звездной тьмы вытаяла гражданочка вместе с домиком-насыпушкой, сбитым из старых облупленных дощечек на месте прежнего пустыря, летом бурьяном заросшего, зимой шлаком с золой заваленного, и печку сразу затопила испробовать — все чин чинарем, как положено. «Ну и, слава богу, и хорошо, — скажет добрый прохожий человек: — Нашла бобылка бесприютная свой земной причал, где можно голову приклонить, а то сколько можно по чужим углам ходить — горе мыкать?»

Такие сказки волшебные на городских окраинах прежде были не в редкость, не у всех они, конечно, получались и не всем с рук сходили; взять, к примеру, многодетную семейку Юрочкиных, что в город вырвались из колхоза всеми правдами и неправдами, — тоже мечтали, бедолаги, за ночь на квартале нарисоваться в собственном домике по щучьему велению по Семенову хотению, но не получилось сразу, как говорится — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Имелась до войны на нашем квартале угловая старинная усадьба с обычным для дореволюционных времен сорокаметровым уличным фасадом. В войну дом сгорел вместе с сараем, поленицей и оградой, часть земли оттяпал вновь образованный Эвакуированный проезд, старики вскорости перемерли один за другим, не в силах по чужим баням скитаться, про наследников вспоминать нечего, те еще раньше на фронтах головы сложили, короче говоря, пустырь на месте остаточной угловой усадьбы организовался.

А что означает пустырь в жилом городском квартале? Да самое последнее дело, скажу вам безо всякого секрета: во-первых, мигом, глазом не успеете моргнуть, свалка в данном месте возникает из всякой ненужной дряни, затем, хуже того, помойка всеобщая организуется, зарастет участок бузиной, крапивой, волчьей ягодой, лопухом гигантским, а там, глядишь, по вечерам неприятности с прохожими начнут твориться, приставания, грабежи, до убийства недалече осталось.

Крайним к новоявленной свалке оказался дом Кузьмы Фёдоровича. Пришел старшина интендантской службы с фронта, отдохнуть мечтал немного, только видит: дело обстоит из рук вон плохо, забор забором, а все одно не жизнь опять предстоит — война. Начал подбирать среди родных да знакомых, кого бы рядом вселить, чтобы не крайним оборону держать от всякого сброда.

Дарьюшка тогда работала вместе с женой его, Анной Фроловной, на де-зостанции, и всю свою взрослую сознательную жизнь обитала по чужим квартирам, мечтая о собственной крыше над головой, как о манне небесной, давно ни на что уже в этом смысле не надеясь. Вот Анна Фроловна возьми и предложи: так, дескать, и так, разлюбезная Дарьюшка, а стройся-ка ты на соседнем заброшенном участке, мы чем можем поможем, а материал для будущей стройки в нашем огороде готовь, копи доски с опилками.

С год Дарьюшка собирала, где только возможно, обломки кирпичей, возила на телегах Гужтранспорта со строек на печку, опилки сама в мешках таскала с отвала спичфабрики, шифер для крыши помог Кузьма Фёдорович на своей базе выписать. Конечно, оформить участок по закону невозможно, никто даже и не пытается: для того надобно несколько лет исправлять бумаги, ходить по инстанциям, толкаться в бесконечных очередях, куда как проще без спросу построиться, и вообще жить у нас можно только без спросу от властей, начнешь спрашивать — быстро в дурдом определяют.

Целые улицы с районами возникали и до войны, и после на окраинах. Порядок строительства повсеместно был учрежден замечательно простой, уж такой простой, что дальше некуда: коли успел человеке за ночь дом с печью поднять, будь ласков, отдай штраф государству и живи себе, в потолок поплеывай, даже адрес получишь, чтобы страховку обязательную за свой дом государству платить вместе с налогом на землю и воду.

А коли не смог к утру печку разжечь, тут уж, мил друг, не обессудь, разговор будет суровой прокурорской статьи: быстро трактор разровняет твою стройку в прежнее чистое место. У властей разговор короткий, и тракторист здесь — самый понятный народу переводчик.

Год копила Дарьюшка материалы в огороде у Кузьмы, время пришло — наняла знакомых стариков-строителей да печника. С вечера, в свете фонаря, старики зачали возводить насыпушку в одну комнату с кухней, печник одновременно изнутри печь ладил, вовремя вывел трубу на чердак и в крышу. Холодным августовским утром печку растопили, пошел дым, участковый милиционер явился, как ему и полагается, в восемь утра, черкнул казенную штрафную квитанцию, которую Дарьюшка в сберкассе оплатила, и стала жить-поживать, добра наживать сама себе хозяйкой, и даже с адресом, который на обгорелом столбе остался от прежней усадьбы. Через некоторое время забор поставила, а то жители по старой привычке тащили ведра с мусором к ее порогу. Спустя год еще одну комнатку прилепила, сенцы, кладовку сколотили ей старики-строители, в огородике сараюшку под дрова и уголь, вот и зажила тетка своим двором. А то сколько можно по свету скитаться?

Семейство Юрочкиных куда как более многочисленное, не сравнить с одиночкой, те решили огород городить самостоятельно, никого не нанимая. Денег, конечно, не скопили, откуда, боже мой: еле-еле вырвались из колхозного рабства послевоенной деревни, прибежали в город, в чем были, голы как соколы: в корзине шиш вместо тусов.

Не то родственники Кузьме Фёдоровичу, не то односельчане или знакомые односельчан, но люди трудовые, семейные, многодетные. Глава, Семён Юрочкин, остаток жизни, пока не загнулся после побоев местной шайки, ходил в серой заводской робе литейщика, выданной по новому месту работы, ничего больше не было, костюм себе так и не справил. Жена Клавдия тоже в серой спецовке работала уборщицей в горячем цеху. Безымянный брат Семёна, низкорослый и сутулый, в очках, бесшумно в сером заводском одеянии цвета вечной придорожной пыли, очень гордился крепостью материала. Его жена, маленькая, толстая, звонкоголосая, в очках и робе вослед прочим, тоже рабочая горячего цеха, куда деваться беглым? Известное дело: из огня да в полымя.

Лишь многочисленная разновозрастная ребятня кто в чем бегают, все в разном и с чужого плеча. С вечера компания принялась ладить насыпушку, но к утру ни то ни другое закончить не успели, участковый явился,

а у них труба на крышу не выведена. Тогда Семён схватил ведро, залез на чердак и в дырку для трубы поставил ведро, в котором бумагу поджег. Дым пошел настоящий, не рисованный.

— Врешь, не проведешь, — сказал участковый и скомандовал трактористу: — Вали дурака.

Тракторист наехал на постройку, та затрещала, легко рухнула складным карточным домиком, даже опилки Юрочкины не засыпали, нажиулили стены в одну доску, для вида, надеясь на теплый сентябрь и последующее бабье лето. Хорошо Семён успел с чердака сигануть, ничего себе не сломал.

Через месяц, однако, собрались опять с силами, построились за ночь, как Иванушка-дурачок из сказки, и печь затопили. Не дворец, разумеется, а деваться им все равно некуда, безвыходное положение: или строй, или ложись наземь да помирай всем семейством. Выжили, а дом угловой получился. На крайний-то угол какой только самосвал не наедет в темноте, какой забулдыга стекол с пьяных глаз не расхлещет. А им хоть бы хны — живут себе и в ус не дуют, швеллерами от шоферов отгородились, новый большой дом скоро из шлака надумали лить, благо шлак на заводе бесплатный: бери — не хочу, и все у них пусть не сразу, а получается, оттого, верно, что относятся друг к другу по-родственному, семейно, как могут заботливо, без особой ругани и брани. Хорошие соседи у Дарьюшки и слева, и справа, а задние Шлыки — не очень, но какие уж есть, с теми и жить надо.

Да что говорить, пусть неведомо откуда Дарьюшка ночью на городской окраине вытаяла, к ведьмам ее никто не причислил. И вообще до поры до времени в этом отношении между Третьим и Четвертым переулками дела удачно складывались: не было своего местного упыря, ибо персональный пенсионер Шлык не в счет, он в проезде Эвакуированном обитает, а это по большому счету не считается. Жил народ — жил, и не знал, что хорошо ему живется.

СТО ЯИЦ БЕДНОЙ САВИШНЫ

А занесло нечисть со сторонушки со дальней и бросило с размаха на долгополовскую усадьбу, крайнюю на квартале, если считать от Третьего переулка, высоченным старинным забором огороженную, плотным, основательным, в полтора роста высоты, так что, когда проходишь по тротуару, самого дома не видно. Выше того забора летом шумят-зеленеют раскидистые кроны ранеток-полукультурок, зимой конек заснеженной крыши чуть виднеется сквозь голые ветви.

Вход на долгополовскую усадьбу прежде располагался со стороны проходного Третьего переулка, на котором народу всегда гущина толчется: кто на трамвай бежит сломя голову, кто в школу телепается через не хочу, кто в ближнюю Покровскую церковь ко службе благочестиво семенит, а с квартала калитки не было, однако номер уличный все равно прибит на положенном месте — заборе. Следовательно, входит дом неким боком в местное сообщество. Вот с этого-то крайнего долгополовского дома и начались местные квартальные несчастья, а вернее сказать: пришла беда — отворяй ворота. Бед и прежде пруд пруди, успевай только ложкой в рот носить, расхлебывать, а тут сказать — беда из бед пожаловала ко всем сразу.

Проживала до поры до времени в крайнем домике под родительской крышей пенсионерка, бывшая учительница начальных классов Марья Филипповна Долгополова. Сорок два года в школе оттрубив, ни детьми,

ни семьей не обзавелась; «...все тетрадки проверяла», — так сама отшучивалась; давно уже на пенсию вышла, то ли к восьмидесяти ей шло, то ли недавно за восемьдесят перевалило. К большой для себя горести Марья Филипповна обладала повышенной чувствительностью к шумам, очень мешавшим почивать старушке спокойно, когда, к примеру, окрестные пацаны лезут в ограду ее крайнего домика по вечерней темноте через забор, устраиваются на яблонях, ломают хрупкие плодоносные веточки, в спешке, кривясь и морщась, поедают неспелые яблочки, принося при том себе расстройство молодых неокрепших желудков и головную боль Долгополихе.

Обычно пожилые люди глуховаты бывают, а эта нет. Выскакивала на крыльцо и ругала нарушителей настолько громогласно, насколько умеет бывшая учительница, очень-очень пронзительно, оттого ее же собственное сердце обливалось кровью, стучало всю ночь далее торопливо и гулко, мешая уснуть, а мальчишки, попрыгавшие с деревьев на улицу, злились за порванные штаны да неудачную экспедицию, отвечали ей, прячась за палисадником, взрослыми матерками.

И днем доводили старушенцию, стуча по забору палкой и убегая с довольным хохотом. Жаловалась пенсионерка всем прохожим людям подряд, стоя днем возле своей калитки, от недосыпания и полного расстройства нервной системы лицо ее потемнело, под глазами совсем черно сделалось, ну, извините за сравнение, вылитая ведьма. Опершись на клюку, жалобно и зло зывала к знакомым и незнакомым прохожим, прося избавить от надоеданий мальчишек, воздействовать как-то на проходимцев-извергов.

Женщины и с Третьего Прудского, и с соседних улиц сочувственно выслушивали ее плачи и стоны, тут же клятвенно обещая поговорить «со своим», наказать, отгаскать за чупрыну, призвать к порядку — одним словом, утешали беднягу, рыдающую у себя на пороге, как только могли. Но подростков самых разных на квартальном перекрестке по школьной дороге шляется уйма, и с других кварталов, и даже улиц, всех за вихор не перетаскаешь, когда «позлить ведьму» стало развлечением чуть не для всего подрастающего поколения. Эх, знали бы соседи, какое наказание выпадет им впоследствии, назначили бы дежурных охранять спокойствие одинокой учительницы, отдавшей годы и жизнь без остатка школе номер тринадцать, но никто не думал о грядущей беде, не гадал. В конце концов, измученная учительница отмаялась — умерла. Приехавшая из деревни родственница скоренько похоронила тетку и, не дождавись девятого дня, продала домик что-то очень задешево, уехала восвояси, будто кто гнал ее отсюда железной метлой, даже лица не запомнили, так племянница торопилась.

Скоро на место учительницы вселился старичок. Сам себе одинокий, без старушки, без детей и внуков. Одет чистенько, опрятно и скромно, сразу видно, что не пьяница: рубаха светлая, с длинными рукавами, брюки не латанные, ремешком плетеным подпоясаны, на голове фуражка с козырьком, на глаза низко надвинута. Возможно, дети где в городе живут. Мужской силы в плечах — ни грамма не осталось, косточки под рубахой торчат одни. Худенький такой, изжитой. Ясно дело: бабка небось преставилась, дети папашу из деревни забрали, сняли с насиженного места, в город перевезли, чтобы под боком был, не затосковал, с огородиком да внучками возился. Ну этот долго здесь не продержится — замучает беспризорная шпана.

Откуда только взялась в нашем тихом, спокойном месте? А отцов в семьях нет, оттого в руках их держать некому, остратки лишены оказались. Даже те мужики, что с фронта вернулись, все изранены, калеки,

да к наркомовским граммам водки приучены, спились дома окончательно, перевыполняя норму, какие из них воспитатели?

Уличная вольница деток воспитывает, и плоды, что называется, налицо. «Ох, замучает старичка стуками в забор днем да в ставни ночью орава уличная, беспардонная, сведет, как бабушку-учительницу, с ума, веселья своего дурного ради. Ранетки заломают, огород вытопчут, стекла оконные камешками разобьют, в форточку открытую песка накидают. Эх, дедушка милый, не туда ты прибился для упокоения, сидел бы на родном месте до конца, а коли край подошел — подавался в тайгу к медведям, в скитах скрылся вечным странником, глядишь, целей бы оказался и прожил доле», — так рассуждали меж собой соседки, качая жалостливо головами.

Как-то сразу объявилась в заборе и со стороны квартала калиточка, будто по шучьему велению, никто не видел, как строилась, верно, тоже ночью, при ней лавочка низенькая и дедушка на ней сидеть нарисовался. В давние времена имелась со стороны Третьего переулка у ворот рядом с палисадником при доме скамеечка, но потом как стали на ней усаживаться вместо бабушек ночные компании — пить-гулять, учительница от нее отказалась, убрала.

А дедушка вон какой бесстрашный человек оказался: смастерил из новых досточек на другую сторону да уселся у черного нового входа. Ни дать ни взять — ранетки свои охраняет. А такое, между прочим, чувство, будто кто во дворе у него работу постоянно скрытно работает, топором, молотком постукивает, но не дедушка, дедушка на скамеечке восседает, словно в деревне на завалинке. Однажды утром пошли соседи за водой на колонку, что напротив долгополовской усадьбы возле арендного дома имелась, глядь, не торчат над забором кроны яблонь, зато высится аккуратная голубенькая голубятня.

«Раз яблони исчезли, лазить в ограду мальчишки не будут, а не будут лазить — гонять он их не станет, не разозлятся они, так и в забор не будут камнями кидать, стекла бить, в ставни по ночам стучать, может, и выживет старичок на углу, — рассудили сердобольные соседки. — Выходит, голубятник поселился, и совсем не деревенский дедушка-то наш, всем известно, что в деревне колхозному народу некогда голубями заниматься, стало быть, городской старичок этот. Пенсионер, местный, бывалый человек. Ну, значит, нечего за него переживать».

Однако же вскорости поняли, что опять же слегка ошиблись. Старичок своим не признавался и на все самые благожелательные приветствия, будь то: «Добрый день!», «Здравствуйте!!!», или просто: «Здорово, сосед!», отвечать не думал, даже смотреть не желал.

И не глухой, вроде. Поздоровается с ним прохожий, старичок низко опущенную голову поднимет на секунду, зыркнет из-под козырька оловянным взором, и тут же опустит молча, гмыкнет нечто неопределенное себе под нос, вроде: «Ну да?», а скорее: «Пошел к черту». Такие странные дела необъяснимыми оставались весьма недолго, любопытен местный народишко, ох, любопытен!

Замечено, что присаживаются частенько к старичку-новичку востроглазые людишки, кои также ни с кем не здороваются, но и глаз не отводят, смотрят на прохожего человека пристально, будто всасывают в глотку вместе с рассолом огурец мягкий с перепоя, и, высосав, сплевывают кожуру в сторонку. В основном братва средних лет: легкие, вертлявые, с нерабочими руками.

Они вели со старичком тихие продолжительные беседы, уважительно и даже как-то подобострастно шепча ему на ухо неизвестно что. А как пойдет мимо скамейки обычный прохожий, смолкают и нехорошо взглядом ощупают со всех сторон, будто желают со свету сжить и место выбирают, под какое ребро удобней финку вставить. Оттого народ поодаль начал ходить, кто по дороге, а женщины вообще стараются по другой стороне улицы обходить неприятную лавочку.

Бывает, старичок вдруг исчезнет, тогда из-за забора раздается пронзительный свист, что не только его собственная голубиная стая в небо взмлет, но и все окрестные с перепугу в полет наладятся. Частенько старичковьи голуби приводили чужих на свой насест, в ловушку. Хочешь не хочешь, а приходилось тогда окрестным голубятникам идти на поклон к лавочке, выкупать своих турманов.

Дедушка цену назначает высокую. Стоит, допустим, тот голубь рублей пятнадцать на базаре, так без десятки к нему и не ходи за выкупом. И упрашивать бесполезно, и стыдить опасно: отец с сыном пришли как-то за своим голубком, которого дедушкина стая увела, просят отдать, а тот высоченную базарную цену заломил без всякого стеснения. Отец ему и говорит: «Нехорошо, не по-соседски себя ведете, пожилой ведь человек, вернули бы по-дружески бесплатно. И не жалко вам детей без забавы оставлять?» «Значит, изверг я получаюсь? — изумился дедуня, а у самого олово в глазах так и плавится, так и плавится, просто кругами ходит. — Извергов ты, папаша, не видал еще. Но раз хочешь бесплатно — изволь, бесплатно верну. Раз бедные вы такие здесь оказались, вот те божеская милость. Ежели нищие и кушать вам на обед нечего, — нате, сварите супчик».

С этими словами голубью шейку свернул и бросил комком белых перьев прямо под ноги отцу с малым сыном.

Разве не Змей после этого? Самая что ни на есть змеюка подколотная. За оглушительный разбойный свист, от которого старухи хватались за сердце, бесчеловечность да нелюдимость прозвали нового соседа Змеем Орынычем, но оказалась та кличка не последней. Хотя имени настоящего не узнал никто никогда. Вот такое наказание свалилось на квартальный народ за печальную участь бедной учительши. Поминали ее бабы теперь часто, чаще, чем когда жива была.

Как-то в редкостно удачный день повезло вдове военного времени Савишне купить сразу целое ведро яиц, сто штук, что-то с торговлей случилось, продавали тот раз без нормы, сколько хочешь, столь и бери, большую очередь отстояла и несла-тащила домой, на свой Первый Прудской аж с магазина на Пятом. И на ту взяла, и на этого, и вот проходит мимо дома углового, долгополовского, ничего плохого не подозревая, а из-за забора Змей этот Орыныч в ту самую минуту как засвистал, так у нее ведро из рук и выпало. Много яиц побилось, тут Савишна не выдержала, горько расплакалась по бедной учительше, что в начальной школе ее писать-читать научила. Расплакалась-разрыдалась, будто вчера только беднягу схоронили: «И на кого же ты нас покинула, Марья Филипповна, учительница первая моя!»

Один только Борис Давыдович смог разговорить углового старичка просто так, за здравие, полчаса у лавочки простоял, речи с ним вел обаятельные. И старичок отвечал, и даже на прощание улыбнулся тому скалозубо-серебристым металлом в ответ на золото Давыдыча, бабка Балабаиха из своего окошка наблюдала, все через дорогу видела. Далеко очень хорошо видит,

несмотря на возраст и толстенные линзы в очках, а под носом — абсолютно ничего ни в очках, ни без оных.

На то он и есть — Борис Давыдович, самый прелестный на квартале человек. Дружен со всеми в округе — не разлей вода, хотя без совместных чаепитий, и как бежит шустренько с ведром за водой на колонку, со встречаемыми соседками обязательно перездоровается, никого не пропустит без смешного слова, мужчинам руки пережмет, байку новую веселую расскажет, лихо да быстро. Каждому ребенку трехлетнему, что в пыли с машинкой играет, улыбнется, похвалит: «О, це хлопец! О, це я понимаю! Шофером будешь!» Ах, как при том улыбается в тридцать две золотые коронки Борис Давыдович, просто червонцем царским дарит. «Приятнейший человек», — любой вам скажет, без всякого сомнения, а работает, между прочим, не маленьким начальником. Директором магазина музыкальных принадлежностей, пластинками заведует и всяким прочим музыкальным имуществом, включая балалайки с мандолинами. Прежде торговой инспекцией заведовал, а до того трест «Вторчермет» возглавлял. Номенклатурный человек, как из высшей касты, — он всегда директор, хоть прачечной, хоть шляпной мастерской, но директор. Живет Борис Давыдович с женой Фаней, дочерью Риммой и зятем Иваном в половине двухэтажного казенного дома. Другую половину две семьи занимают поэтажно, а у Бориса Давыдовича свой отдельный вход и оба этажа. Двор бетоном залит — ни травинки, ни соринки, сверху закрыт, потому там темно, зато зимой снег лопатами на улицу не таскать, огорода не держат, имеют гараж внушительных размеров, в гараже машина «Победа» стоит. Хорошо живут, интеллигентно, обеспеченно. К себе местных никого не приглашают, сами ни к кому не заходят — исключительно на улице общаются.

Соседки, конечно, заметили, что Давыдович с Орынычем разговаривал, принялись любопытствовать: на какую тему?

— О голубях, небось? Борис Давыдович?

— Зачем? О музыке. Новый сосед наш музыку любит, я пообещал ему пластинок достать, джазовые композиции, между прочим, ну и так, еще кое-что по мелочи.

Соседки переглянулись: смотри-ка, что на белом свете делается. Борис Давыдович дальше не побежал, как обычно, продолжил беседу с соседками, но уже почти шепотом:

— Вы, дорогие женщины, осторожнее будьте, не ругайте его Змеем громко, нельзя так, особенный он человек.

— Чем это Змей особенный, тем, что голубям при детях шеи крутит?

— Да как вам сказать. По одному его слову могут любому из вас головушку в одну секунду оторвать. И вообще, меньше мимо него дефилируйте, не любит он этого, лучше вовсе в ту сторону не смотрите, будто не замечаете. Так-то я вам скажу, дорогие и бесценные.

Но и без Бориса Давыдовича всем ясно, что Змей — шишка уголовного мира. Крутятся вокруг него шестерки, ублажают, доносят, а он главный у них вор. Охо-хо-хо, вот где наказание квартальному народу выпало за обиженную проказливой пацанвой старую учительку. Тяжелый человек Орыныч, хоть и мелконький на вид, ох, какой тяжелый! Голубю, почитай святому духу, шею сворачивает при ребенке. Нелюдь вылитый, упырь, одним словом. И стали потихоньку соседи нового соседа промеж собою Упырем называть, душегубом, значит. Народ у нас толковый, насквозь жизнь видит.

НЕЗНАКОМЕЦ С БОЛЬШИМ ЧЕМОДАНОМ

Напротив дома Кузьмы Фёдоровича, окна в окна через дорогу, стоит дом Фомы Сорокоуса, тракториста, и «Беларусь» его с ковшом перед окошками присоедился: с подработки воскресной приехал Фома на обед, коротко кивнул соседской компании, собравшейся у ворот Кузьмы постоять, прошел к себе во двор, закрыв калиточку.

Не любит Фома всеобщего благодетеля Кузьму Фёдоровича и все тут! Ни за какой надобностью к нему не обращается, гулянки не посещает, даже просто так не остановится поговорить на улице: лишь кивнет кратко и к своим воротам заруливает: дескать, некогда мне с вами лясы точить, дел полон рот, успевай разворачиваться. За версту видно — самостоятельный человек, к тому же торгового блага на дефиците ни под каким видом не терпит.

Даже вроде как в пику соседу дом свой Фома выкрасил ядовито-желтой краской, какой ни один нормальный человек во всем городе не покрасит, самой последней беспомощной старухе в голову не придет так опозориться, лучше уж совсем не красить, чем в желтом доме оказаться, как в психбольнице.

Когда красил, на вопросы пораженных соседей отвечал кратко: «Что в магазине было, то и купил, а воровать с детства не приучен». Вон, даже прохожие останавливаются в недоумении. Дарьюшка понимающе оглядела нездешнего молодца с большим чемоданом и сумкой в руках, ставшего как вкопанный возле дома Фомы с открытым ртом: дом желтый, ставни темно-синие. Явно прохожий из сельской местности прибыл, при костюме, белой рубашке, но без галстука, и воротник так расстегнут, за версту видно, что никогда галстук на данной шее не висел, а плечи и походка широкие, комбайнерские. Механизатор в город подался с чемоданом, не иначе. Такого квартиранта нам не надо: молодой, неженатый, да и женатых не надо — Дарьюшка отвернулась, вздохнула: таких, как Полина, поискать нынче. Жалко, лето грозливое выпало: и урожай сильно побит, и фронтовик Иван Евсеич до того на крыше накувыркался, что вздумал на Полине жениться.

Ишь ты, встал и стоит, смотрит — опять же ясно: не видал желтого дома сроду. Ничего-ничего, погоди, дай срок, в городе поживешь и не в такой угодишь. Нынче нужного товара в магазинах днем с огнем не найти, можно даже не бегать, уважаемый Фома Фомич, не искать, но попросил бы Кузьму по-свойски, да намекнул только слегка, так, мол, и так, дорогой соседушко...

Самой лучшей краски тот бы выписал на своей торговой базе, ведь не Сорокоусу на свой дом смотреть, а Кузьме из окошка в него пялиться: выглянешь, а там желтый дом напротив, плюнешь, что за пакость! А гости иногда большие приезжают и удивляются, чего, Кузьма, не мог соседу удружить? В глаза спрашивают, подпив коньячка: «Ну, как же так, Кузьма Фёдорович? Разве можно?» а тому и крыть нечем: он рад бы оказать содействие, да Фома разговаривать не хочет, можно сказать, в упор не видит.

Гражданин с роскошной шевелюрой, в белой рубашке, как правильно угадала Дарьюшка, являлся сельским механизатором, желтый дом рассмотрел в подробностях, но далее своей дорогой, как обычный прохожий, отчего-то не проследовал. Вещи наземь опустил, кстати, не у калитки Фомы, а возле соседского заборчика приспособил, меж обломанных кленовых кустов, и теперь стоял, словно отдыхая, будто руки отмотал тащить этакой чемоданище. Чемодан, кстати, весьма похож на своего хозяина, ей-богу, как два сапога пара, оба здоровенные и слегка рыжие.

Тут, к всеобщему счастью, из-за угла появилась дочь Фомы Татьяна, не очень давно окончившая техникум, а ныне уже преподаватель швейного училища, в домашних же условиях послушная ласковая дочь, проспавшая воскресное утро в тишине и радости, что даже не услышала, как отец и муж уходили каждый на свою выходную работу.

Танина мать встала много раньше мужчин, завтрак им собрала, потом с огородом управилась, потом обед готовила, иногда забегая в комнату будить, но каждый раз останавливаясь: «Ах, какая красавица дочка; разметалась на подушках, разнежилась. Ну, поспи еще, дитяtko, поспи, Таня милая, вот пойдут свои дети, не доведется так-то отдохнуть». — И выходила тихо вон, опасаясь грядущей дочкиной женской доли, которая неотвратимо когда-нибудь наступит, но пока, слава богу, не наступала, несмотря на замужество.

Повезло жить-поживать Танюше с муженьком в родном доме, в своей девичьей комнатке при родителях. Маменька души в дочке-красавице не чаёт, папаша с лица всегда сердит, но внутри тоже добр, хотя показывать того не желает, потому что проповедует закон и порядок во всем мироустройстве, куда домашнее хозяйство тоже входит. Мужа Таня самостоятельно себе подыскала в деревне и вывезла оттуда прямо домой. В первую же трудовую осень такое дело случилось.

Послали ее с учащимися в колхоз на уборочную, там влюбилась в местного творческого паренька, который после армии был поставлен директором клуба на самодеятельность. А Таня с детства в самодеятельности всегда на «отлично» выступала. Так они спелись за месяц, что не смог выдержать директор клуба грядущей разлуки, дня одного не пережил, бросил родные просторы, березки, речку, про которые до того песни самодеятельные сочинял, и уехал вместе с Таней в город, где поженились молодые люди и стали жить-поживать у Таниных родителей. Она по-прежнему преподаёт шитье в профтехучилище, муж в заводском клубе поёт и танцует, в институт культуры поступил учиться. Таня по стопам молодого супруга тоже в своем училище танцевально-певческий ансамбль организовала из девчонок, и так хорошо они выступать стали, что в двух смотрах городских победили.

А в июле этого года Таня с ансамблем ездила на краевой смотр в Первомайский район: в июле у колхозников передышка между посевной и уборочной наступает, так давали им серию концертов. На том выезде познакомилась с механизатором Ларионом — здоровенным парнем, и вдруг робко-робко себя почувствовала, когда пригласил ее прогуляться на пару по единственной асфальтированной улице райцентра. Ларион такой большой, интересный, в парадной белой рубашке с засученными рукавами и наглаженных черных брюках, она в лучшем платье, отчего-то пылающая, счастливая, очень красивая, не зря мама все детство твердила: «Ой, Танечка моя писаная красавица растёт!»

Так и прогуляли всю ночь до утра.

Сегодня проспавшая все сроки Татьяна побежала в хлебный магазин, когда там, естественно, никаких очередей уже не было, да и на полках пустота — хоть шаром покати. Съездила на трамвае в центр города, только здесь тоже ничего не нашла, кроме печенья да сладких дорогих булок с повидлом. Делать нечего, отец скоро на обед приедет, — купила булок и печенья. Увидела трактор возле дома, заторопилась, коли папаша сядет щи хлебать без хлеба, такой разгон устроит, что берегись.

Когда пробежала мимо незнакомца, даже не посмотрев в его сторону, тот вдруг неожиданно-негаданно охватил ее талию сильными руками, сжал очень

крепко, легко в воздух приподнял, крутнув вокруг себя несколько раз. Перепугалась Танюша, как в девичестве, когда приснился сон, будто невидимый в темноте мужчина поймал ее. Два года замужем, давно перестала бояться темноты с мужчиной, привыкла. А тут вдруг снова, ни с того ни с сего, среди бела дня страх пронзил от сердца до пяток, организм разжижился, и когда опустили, убрав объятия, сползла вниз по широкой груди, опасаясь, что свои ноги не удержат, выдохнула:

— Ларион, ты, что ли?

— Я, — гость стеснительно глянул на кленовые кусты, под которыми прятались чемодан и сумка. — Прошу извинить, если не ко времени.

— Ларион, мне надо срочно домой. Отец приехал на обеденный перерыв, я за хлебом бегала. И это, — тут только Татьяна произнесла то, о чем так и не решилась сказать за всю длинную ночь, которую прогуляли вдвоем по асфальту райцентра и берегу речки, — я замужем, Ларион...

— Вот как? Да я ничего... и не думал даже.

И в одно мгновение, Дарьюшка зафиксировала это явление наглядно, резко опал ростом. Неизвестно куда девался разворот плеч в косую сажень, нет, вовсе даже не молодец, ошибочка вышла в глазомере, так себе гражданин, вполне обычный прохожий, тащился-тащился человеке, пыли наглотался, встал передохнуть. Или какой дальний родственник Фомы из деревни приехал? Устал больно, или того хуже: собрался в больницу лечь, подлечиться, не иначе. Ишь, какой зеленый, скорее всего, желудок неисправен, с плохим пищеварительным трактом в поле много не наработаешь, а с другой стороны, сказать: ну какая такая в сельском районе может быть медицина?

Фельдшера в основном числятся с медсестрами на пункте первичной помощи, ветеринара и то найти трудно, хотя сельскохозяйственный профиль требует наличия. Институтские выпускники-медики, выходцы из села, тоже нынче в городе норовят пристроиться, даже в большей степени, чем комбайнеры. Разбегается народ из деревень на все четыре стороны, начихав на колхозную крепостную родину, пользуясь моментом, что стали выдавать паспорта.

— Ты ко мне ехал? — спросила Татьяна напрямую, придя в себя и заметив чемодан с сумкой под пыльной листвой.

— Хорошо, что в дом не зашел, как чувствовал, — слабо улыбнулся механизатор. — Да. С работы уволился, скоро уборочная начнется, а я сбежал с трудового фронта. Ох и материл меня председатель в хвост и гриву! Ладно, извините, пойду я.

— Ну вот еще, чего обиделся, Ларион? Отобедаете с нами. Вы же угощали наш коллектив в столовой, идем-идем, и не сопротивляйся даже. Бери свои вещи, заходи, без обеда не отпущу.

— А муж? — обиженно поинтересовался усохший человек вконец расстроенным голосом.

— Его дома нет. У них сегодня концерт на весь день до вечера.

Без малейшего вдохновения проследовал за Татьяной в желтый дом с синими ставнями. А давно ли счастливым летел с вокзала, как на крыльях? Пройдя через веранду и сенцы, очутились, как полагается, в большой светлой кухне с двумя окнами, за столом сидел обедавший без хлеба хозяин: сердито хлебал щи, насыпав в тарелку горелых сухарей. Мама обрадовалась: «Вот и Танечка из магазина вернулась, зря отец беспокоился. А это кто с тобой в гости пожаловал?»

— На Пролетарской хлеба нет, — доложила Таня, первым делом выкладывая на стол покупки, — в центре тоже пусто, пришлось сладкого взять,

хоть к чаю сойдет. Это знакомый механизатор встретился, зовут Ларион. Он коллектив наш принимал в Первомайском районе, теперь в город приехал, я пригласила отобедать. Вы, Ларион, без хлеба суп едите?

— Зачем без хлеба, я захватил с собой, вот две булки, пожалуйста. И сала немного есть, примите к столу.

— Молодец, — перестал хмуриться Фома, когда перед ним вдруг очутились две пышные ковриги домашнего изготовления, — механизатор, значит?

— Широкого профиля.

— Садись за стол, добрый человек. Фрося, наливай гостю.

— Ой, как вы вовремя, — обрадовалась Фрося, — мойте руки и присаживайтесь, сейчас я вам с Татьяной все поставлю.

Сидевший во главе стола хозяин, нарезая пышные белые ломти, возрадовался:

— Хлеб настоящий, крестьянский, запашистый, мы в городе про такой давно забыли. Уже самого главного в магазинах не стало, целину подняли, а хлеб пропал, хоть карточки заводи, как в военное время. Выкинут на пару часов в магазин, будто ворованное, очередь на квартал тянется, а за чем, спрашивается, чего там доброго? Дрянь одну толкают, хрущевского помола мучица, американский продукт — кукуруза голимая.

Руки, смотрю, у тебя, Ларион, нашенские — трудовые, подходящие для работы. Зятек в этом отношении малость подкачал... культурный человек, хотя тоже из села. Оттого и в культуру подался, деятелем культуры трудится: песни поет, басни читает, танцы танцует, — Фома хмыкнул. — я бы, Ларион, по маленькой предложил за встречу, но, извини, надо ехать, сети подводим под канализацию с водопроводом, траншеи копаем. По воскресеньям часто приходится вкалывать, когда план сдачи рушится из-за очередного головотяпства.

— У нас в уборочную тоже воскресенья не соблюдают. В хорошую погоду с утра до ночи пашем.

— В город купить что приехал? В магазин, небось? Закрыто сегодня все. Выходной.

— Нет, я так... посмотреть.

— Это можно. Смотреть можно, смотреть есть чего: одних кинотеатров понастроили штук пять, театра два, горсад, на Выставку достижений съезди, там мебель красивая прямо целыми комнатами оформлена, то бишь гарнитурами: спальный, столовый, кухонный — смотреть за деньги можно, если билет купил, а трогать нельзя, зато пиво всегда бывает в ларьке у озера, и чисто, и лавочки удобные со столиками. Ладно, мне пора. Если переночевать негде будет, ты заходи, не стесняйся, посидим, обсудим международное положение. С хорошим человеком я всегда рад.

После ухода отца семейства на работу Таня с мамой наперебой принялись угощать Лариона, достали даже водку из шкафчика и налили всем по рюмочке, за встречу и для настроения. «Хорошо ли она сделала, что тогда не сказала о муже? А сейчас вдруг позвала с улицы в гости?»

С одной стороны, конечно, не очень хорошо, но ведь о том и речи не было, когда он, ни с какой стороны не относившийся к организаторам спорта, вдруг по собственной инициативе привез букет цветов и вручил ей по окончании концерта, и далее, на торжественном ужине в школьной столовой, проявил себя с лучшей стороны, ухаживал за всеми как добрый хозяин, доставал необходимое, решал проблемы, то и дело возникающие по ходу

ужина, потом проводил до гостиницы и пригласил еще погулять, пройтись по замечательным окрестностям, так как погода стоит хорошая...

Все ее девчонки отказались, наплясавшись и напевшись, а она согласилась пройтись, осмотреть местные достопримечательности. Пока гуляли, о многом с Ларионом переговорили, но ни она не обмолвилась о муже, ни он не назвал семейного положения. Впрочем, говорить и без того было о чем, гулять тоже интересно, просто так приятно, без дальних мыслей, нет, слишком приятно, как два года тому назад танцевать со своим нынешним мужем. «Точно, что ли? Нет, не может быть! Даже никакого сравнения быть не может — гулять гораздо приятнее», — у Тани среди разговора вдруг предательски округлились глаза. Она поняла, что влюбилась. В двадцать два года со взрослой, замужней женщиной, преподавателем училища разве может такое случиться?

Мама Фрося догадалась о наступлении неприятных приятностей гораздо раньше, почти сразу, как только дочка вошла, а за ней ступил на порог широкоплечий парень. «Какая пара! — восхитилась мысленно, гостеприимно улыбнувшись при этом. — Танечка, красота необыкновенная, а знакомый ее тоже симпатичный молодец, очень ей подходит, как бы они зажили хорошо, на загляденье, прямо душа в душу! Ой, и приехал с большим чемоданом. К чему бы это?»

Оставив Танюшу с гостем наедине, пошла на улицу прогуляться, а тут Дарьюшка сразу встретила.

— Гости у вас, однако, сегодня?

— Из деревни знакомый, — не вдаваясь в подробности, делано-равнодушно, чуть ли не зевая, пояснила Фрося.

— Симпатичный знакомый. Долго стоял, все дом ваш разглядывал, но раз с сумкой да чемоданом, значит, не вор. Потом Татьяна объявилась, вместе в калитку зашли, славно вместе смотрятся, прямо как на картинке. Большой чемодан, будто навсегда человек переезжает. Наверное, из деревни в город перебраться нацелился?

— Квартирант нужен?

— Нет, квартирант не нужен, квартирантку бы, не слишком молодую где найти. Средних лет, бессемейную, добронравную, некомпанейскую, за комнату я бы недорого взяла, десять рублей, даже с моим постельным бельем. Нет на примете никого?

— Нет, таких нету, Дарьюшка.

— Полине в замужество два комплекта постельного выделила, стульями снабдила, подушку дала, все как полагается. Сама без стульев теперь осталась. Хорошо, Кузьма Фёдорович обещался свои продать, когда достанет себе новые. А хочешь, Фрося, попрошу от своего имени краски зеленой, самого лучшего качества для вашего дома, могу сама сходить на базу даже выписать по себестоимости, ну куда это годится в желтом доме жить? А Фоме своему скажи, будто бы случайно в магазине выбросили, ты и купила удачно, а?

— Фома такие вещи за версту чует. Знаешь, какой у него нюх?

— Ну нет, так нет. Леонид, небось, опять на работе? Концерт у него?

— Концерт воскресный, да. Неделю репетирует — домой не является, только спать приходит за полночь, а в выходной выступает, та же самая петрушка, но уже перед зрителями нижится. В деревне еще куда ни шло — домом культуры заведовал, а здесь совсем в пляски ударился, круглосучно кренделя выламывает в народном ансамбле. Совсем ведь немножко

денег платят за эту самостоятельность, разве семью на те деньги прокормишь? Слава богу, хоть у нас живут на всем готовом, да Татьяна зарабатывает прилично. А он и тому рад. От скуки на все руки, студентом заделался. Детей третий год нет, и вроде как не предвидится. Говорит: «Мне без спиногрызов нагрузки хватает». Не знаю, может, по нынешним временам так и надо жить, а все равно нехорошо.

— Куда как плохо. А этот, сегодняшний, к Татьяне приехал? Так-то мне почудилось, озарился весь, когда ее увидел.

Фрося замаялась. Одно дело с соседкой зятя ругать, другое — про дочь болтать:

— Знакомый механизатор в город собрался переезжать, к нам зашел узнать: что, где, почем. Ладно, пойду я, наверное, поели. Надо со стола убирать.

— Ты погоди, не торопись. Успеешь посуду вымыть, Татьяна тоже не безрукая, чай. Давно с тобой не стояли, не разговаривали. Танюшка сегодня шла по улице, я прямо на нее засмотрелась: редкой красоты дочка у тебя, и походка, и поступь, и осанка — вот все хорошо, так достоинством и дышит. Мне бог детей не дал, как попало живу, не живу, а, можно сказать, перебиваюсь по жизни, а она сразу видно — создана для материнства, и дети будут тоже на загляденье: красивые, добрые, умные, и воспитает она их хорошо.

Фрося мигом оттаяла:

— Не знаю даже, в кого такая умная. Преподавателем с этими девчонками не всякий сможет, а у нее запросто получается. Директор училища сказал: еще годик поработаете, и методистом сделаем, а там и до завуча недалеко.

— Да, красавица Таня, — задумалась куда-то далеко в прошлую жизнь Дарьюшка, — у каждой из нас бывает свой час. Я не больно из красивых, а лет в двадцать, приблизительно, пять и со мною приключилось странное — перестала себя в зеркале узнавать. Посмотрю прямо — будто я, немножко боком голову сделаю: совсем незнакомый взгляд и такой завлекательный, самой не узнать. Да и по парням видно. В горпарке на танцах из-за меня, чтобы вне очереди пригласить, уже драться начали. Продолжались эти странности с полгода, не больше, потом лицо прежнее вернулось, и все встало на свои места.

— Замуж не вышла за те полгода?

— В том-то и беда, что почти вышла. Начал ухаживать кавалер, каких прежде и не видела и не знала: из себя культурный, деликатный, прическа красивая, одевается изумительно, прямо картинка, а не кавалер. В те времена на Кузбассе только иностранные инженеры подобным образом выглядели, ну и артисты приезжие из Москвы. В общем, вылитый артист. Дело к зиме шло, танцы в горпарке закрылись, стали мы с ним в кинотеатр ходить на вечерние сеансы, потом он меня в ресторан пригласил, а я там ни разу не была, ничего не знаю, боялась ужасно, но ничего приноровилась, очень понравилось.

Даже театр посетили несколько раз. Конечно, одевалась театральная да ресторанный публика по-другому, нежели скромные средства работницы позволяли. Ну раз он на мое пальтишко критически посмотрел, как в гардероб сдавал, другой, а потом в один прекрасный вечер подарил красивейшую шубу.

В той шубе отправилась праздновать опять же в ресторан — обмывать подарок. Раздеться не успели в гардеробе, как милиционеры обоих под ручки взяли и предложили выйти с ними на улицу. Доставили в отделение,

принялись допрашивать. Оказалось, шуба та ворованная, мой кавалер вор, его мигом в кутузку заперли, а меня еле-еле отпустили с подпиской о невыезде. Но я на следующий же день уехала, куда Макар телят не гонял, завербовалась на Север, три года там протрубила, как срок за шубу, потом уж сюда переехала. Нет, замуж, слава богу, попасть не успела. А в последующем как-то и не приглашали. Да, только раз бывает восемнадцать лет, и то не у каждого. У меня восемнадцати не было, двадцать пять, помню, было, но только полгода. Твоя Таня с приезжим молодым человеком очень друг дружку любят, я сразу поняла.

— И я поняла, — призналась Фрося, — чего уж там непонятного, только не знаю, к добру ли, нет ли... и приехал с большим чемоданом, будто надолго собрался, а сказал, что посмотреть всего-навсего.

— Это в каком смысле посмотреть. Но чуёт мое сердце — по серьёзному делу человек. И так разулыбался твоей дочке. Наверное, влюбился всерьёз.

— Как же ему не влюбиться, когда Таня моя такая красавица, что нет никого лучше во всем свете. Уже в школе мальчишки проходу не давали, в техникуме училась — совсем отбоя не было, даже преподаватели-мужчины в любви признавались...

— Правда что ли? Им же нельзя, поди?

— Как на духу говорю. Оттого и замуж вышла скоропалительно, по любви, конечно, но не вполне удачно... по моему разумению. Татьяна со мной делится раздумьями обычно, а тут ничего такого не говорила, значит, он без предупреждения приехал. У нее глаза на лбу были, вроде сама не своя, когда в дом без хлеба вернулась, но с кавалером. Хорошо, что Фома ничего не понял, до него когда еще дойдет, а вот как дойдет... тогда не знаю, что и делать.

РАЗВОД СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Муж Татьяны Леонид возвращался домой в распрекрасном настроении, от калитки до крылечка шел с засунутыми в карманы руками, выписывая ногами кренделя-фигуры матросского танца. Программу выполнили без сучка без задоринки, сама Анфиса Степановна из краевой культуры оценила положительно. Немного отметили узким кругом это событие. Потому и вернулся затемно, ставни уже были закрыты и в доме горел свет. За столом сидели теща, жена, рядом с нею парень, по виду родственник. Родственников у тестя много, приезжая в город, они всегда заходят чая попить и частенько остаются с ночевой.

— Как удался концерт? — проявила любопытство теща, поднимаясь и беря чистую тарелку с поварешкой.

Лишь стоило ей открыть крышку кастрюли — по кухне так благодатно пахло наваристыми, на мозговой кости, горячими щами, что Лёня чуть не заикал с голодухи. Выпить они, отмечая положительную оценку Анфисы, безусловно, выпили, только закусить было нечем. «Эх, культура наша бестолковая», — подумал он, улыбнувшись всем жизнерадостно и воодушевленно.

— Отлично. Три раза на бис вызывали мой матросский танец. Ноги отваливаются.

— Их всегда на бис вызывают, — похвалилась теща перед незнакомым родственником, — проходите, Леонид, садитесь с нами кушать.

«Как чужому говорит: "...садитесь с нами кушать", — немного поклябалось Лёню. Разве он иждивенец? Он вкальывает, дай бог каждому!

Неторопливо, по-матросски вразвалочку, сходил, вымыл руки, причесался, осмотрел себя в зеркало, и при полном молчании компании занял место за столом, но не то, на котором сидел обычно, — там расположился гость, а с краю.

Уже случилось такое и прежде, во имя дорогих гостей его, недолго думая, смещали на дальний край стола, на что он старался не обращать внимания. Протянул руку: «Леонид». Гость пожал крепко: «Ларион». Но кто такой и откуда говорить не считал нужным, и ни Татьяна не объяснила, ни теща. Леонид отмел все эти соображения в сторону, набросился на еду. «А, черт с ними! Такая вкуснотища, пусть молчат, сколько влезет, а я проголодался».

Спросил добавки, окончательно возвращаясь в свое обычное веселое расположение духа, что охватывало всякий раз по возвращению домой, в уютную семейную обстановку, в тот раз и навсегда заведенный порядок вещей, который ему не нужно здесь поддерживать, для того существует теща, а на столе, после добавки первого, уже второе поднесли — для того есть теща. Будет и пирог сладкий на третье, воскресенье как-никак. А потом, обсудив семейные новости, вдвоем с его Татьяной удалятся в их светелку, где начнут обниматься и жизнь пойдет еще веселее! Ну что ему какой-то там Ларион? Да бог с ним, пусть посидит вечерок на законном Лёнином месте, не жалко.

— Откуда сальце бог послал? — спросил, культурно накалывая кусочек вилкой.

— Первомайский район.

«Конечно, деревенский родственник. Такой же плечистый, как тещь и теща, даже чем-то похож на Татьяну. Ясными глазами беспечальными. А тещенька приуныла что-то. Наверное, с ночевкой приехал».

— Отец скоро будет?

— Скоро, — ответили хором Татьяна с тещей, глядя в разные стороны: теща в окно, а Татьяна на руки Лариона.

«Близкий родственник, — утвердился Леонид в расчетах. — Не меньше, чем на три дня приехал». Но когда уже доедал второе, вдруг насторожился: «А чего молчат, как на похоронах? Обычно приедут, так разговоров не оберешься — за полночь, всех помянут деревенских, у кого чего, с одной околицы пройдут до другой».

Глянул на тещу с некоторым удивлением, та, решив, что ему надо еще какой добавки, глянула вопросительно, и тотчас отвела взор в сторону, будто от тяжелобольного, который неизлечим, но того не знает и рассуждает весь день о новейших методиках лечения, по минутам блюдет выполнение процедур, назначенных врачом. «Комплект чистого белья жалеет для гостя, — подумал с хитрой усмешкой, — не иначе. Стирать не хочется на руках, но куда не денешься, придется, раз стиральная машина сломалась». Доел уже второе, отодвинул тарелку и снова неприятно удивился, чего так странно глядят на него, будто точно совсем при смерти он, вздыхая попеременно.

— Что молчим? — спросил иронически, испытывая полное удовлетворение от прожитого дня, концерта, своего номера, тещино ужина, Таниной красоты. — Гость за столом, а они, словно на похоронах. Хотите, анекдот расскажу?

— Не надо, — отказалась Таня.

— Новый анекдот, сегодня только услышал, нормальный, смешной, почему не надо? Я же понимаю... приличия.

Недоуменно покосился на Татьяну и гостей, что сидели слишком одинаково, прямо, выделенной парой, вроде помолвленных, и неожиданно все понял.

— А, ясно. Извините тогда.

Жена облегченно вздохнула.

— Мы с тобой расстаемся, Леонид, расторгаем наш брак.

Да. Вот оно. Леониду вдруг сделалось очень душно и неудобно сидеть на чужой табуретке, за чужим столом, в чужом доме, захотелось убежать от стыда куда подале. Почему-то вновь ощутил голод: «А где третье? Пирог сладкий с яблочным повидлом чего не режут?» Но разговор зашел слишком серьезный, уже не до сладкого. Он опустил голову.

— Когда?

Татьяна ответила серьезно, бесповоротно:

— Сегодня.

— Погодите, но как же так? — изумился Леонид. — Как же так? Почему вдруг, без предупреждения?

— Я люблю Лариона. Завтра мы с тобой отнесем заявление на развод. Детей у нас нет, должны быстро оформить. Ты переночуй у кого-нибудь из знакомых, хорошо? А завтра часам к десяти приходи, отпросись с репетиции.

— Как же так? А я? Вы с Ларионом, а я? И к каким знакомым? Ночью?

Посмотрел на тещу обиженно, почему не защищает перед этими двумя? Перед Фомой небось всегда защищала. Но теща провалилась в глубочайшую задумчивость, словно бы уснув на своем месте, и улетела в снах далеко-далеко, нет ее здесь, лишь тело недвижимое покоится. Леонид не то, чтобы испугался, просто растерялся здорово, и в то же время чувствует, что не обманывают его, правду говорит жена: уже за день все обмозговали, рассчитали, теперь доводят до сведения. Мысли порхнули в разные стороны, запутались, отрывочно скользя в голове: «...что же это такое?... да как же это так?... что она говорит, когда вчера еще... да вечером думали, когда ребенка родить... и ночью обнимала... ну куда ему сейчас, на ночь глядя... податься? Девчонка та по мазурке опять подмигивала... а тут вдруг, ни с того ни с сего: «...уйди вон»... и так холодно смотрит... девчонка-чертовка, адреса ее не знает, и даже имени не помнит... как чужая стала, за один день испортилась... разве так бывает, чтобы за день, а?»

Сердце само собой уронилося под стол и там хлюпнуло беззвучно. Холодно, зябко. Ощутил Лёня себя всем абсолютно чужим. Дом, к которому вроде привык, будто к родному, в первую голову враждебен, выпихивает вон. Даже при первом здесь появлении было лучше. Жена Татьяна всем своим видом требует, чтобы он уходил немедленно, забирал вещички да уматывал куда подальше... а если некуда? И не хочется... прижился, привык, и жена любимая, которая вдруг сделалась не женой. Теща, тесть, семья, разве можно так сбивать с панталыку? Не по-людски это.

Но супруга неумолимым взглядом толкает вон из-за стола, прочь из дому уходит требует, давит с неимоверной силой, под действием оного хочется встать и бежать, бежать без оглядки куда-нибудь, не разбирая дороги, падать в грязь, ругаться матом и дальше бежать. Немедленно, без разговоров, прямо сейчас. Уж очень стыдно ему здесь среди них находиться. Жаль, слишком устал, наплясавшись за день, поэтому продолжал сидеть, собираясь с силами. Коли не наплясался бы до икроножных судорог, тотчас бы встал да ушел, но продолжает сидеть на месте, вроде бы и не слишком расстроено выходя, рассматривает изгонявшую его жену в узкий прищур. Сидел и смотрел, смотрел, чувствуя, как затекают с каждой минутой сильнее ноги,

а жена зрит сурово и удивленно: чего не убираешься вон, не собираешь вещи, не прощаешься, коли приказано? Оказывается, этот вопрос она решает: когда идти вместе спать, а когда собирать чемодан и проваливать на все четыре стороны.

«Какая все волокита, — подумал работник культуры, через силу поднимаясь из-за стола, — развод, да еще придется в милицию идти с паспортом, очередь там, конечно, страшная... выписываться, отметку ставить об убытии, сразу-то не выйдет уехать. Или в городе остаться?»

Направился в спальню, где тоже через силу, как вареный, принялся вытаскивать свои вещи из шифоньера, укладывать в чемодан. Вещей оказалось неожиданно много: пальто зимнее, пальто демисезонное, два костюма, трусов семейных аж семь, рубашки, ботинок двое, туфли — все сразу и не унесешь, накупили они с Татьяной ему обнов. А куда, куда он пойдет? Да хоть куда, ему все равно, если жизнь порушена. Она его не любит больше, да и он ее в ответ, тоже не любит, так сильно захолонуло вдруг сердце от измены, возненавидело, да, да! — ведь она ему изменяет сейчас при всех, когда он все еще ее муж! За такие дела изменщицу надо гнать вон, но в том-то и дело, что не имеет прав — дом не его. Все поставили с ног на голову, поэтому не виноватую изгоняют, а она его. Да и черт с ними со всеми, жить надо в своем углу — впредь наука будет. К кому бы на ночь определиться на постой?

Пришедший с работы Фома увидел за столом все те же лица: Татьяна, Ларион, будто бы и не уходивший, а у дверей со странной улыбкой стоит на выход Леонид с двумя чемоданами.

— Куда собрался на ночь глядя?

Зять замаялся. И все прочие молчали натянуто, но так понятно, что Фома аж удивился: как это он в обед проглядел, кого Татьяна в дом привела? Нового мужа себе. Самостоятельная дочка у них, и в первый раз из колхоза привезла, кого хотела, а теперь опять съездила и следующий объявился. Но слишком уж самостоятельная.

— В командировку что ли?

— Нет, — замаялся Леонид, — совсем ухожу.

— А этот на замену? — спросил, по-прежнему обращаясь к зятю.

— Выходит, так.

— Нет, здесь фокус не пройдет. Муж должен дома ночевать, с женой, а гость в гостинице. Ларион — хороший человек, но, извини, придется тебе уйти. Я думал, ты просто знакомый Татьяны, а ты, оказывается, любовник. Придется очистить помещение.

— Я не любовник ей.

— Тем более тогда. Хлеб тебе возвращаю, купил в пекарне, сегодня в тех местах подрабатывал, ничего, хороший хлеб, для своих сотрудников небольшую партию пекли и меня отоварили. Так что, собирайся, брат, и уходи, сало возьми, не забудь. Раз не все съели — еще пригодится где-нибудь.

Татьяна поднялась из-за стола вслед за Ларионом.

— Я тоже уйду.

— Сбегать можешь. Бывает частенько, что жена неверная сбегает за любовником, беги, препятствовать не буду. Но, думаю, лучше все-таки сначала развестись по-доброму, зато потом жить, как люди, чем бегать туда-сюда.

Ситуация вдруг поменялась ровно на противную, и буквально за считанные секунды. Леонид вернулся за стол, Ларион ушел, Татьяна кинулась было его провожать, скоренько вернулась, заперлась в спальне, плакать

о своей несчастной судьбине: хоть не со злым свекром живет, с отцом родимым, а ровно, как в неволе, — счастья нет, что папаша хочет, то с ее судьбишкой и ворочит, не дает жить счастливо, законник выискался!

— А как же без закона, девушки? Вот, к примеру, просил Якова шофер Витька помочь ему яму возле дома поближе к дороге вырыть ковшом, там земля так плотно спрессована, что и ломом не уковырнуть. Для домашнего мусора. Тракторист, естественно, отказался, не пошел на поводу самовольного шофера. Откуда нам знать без закона: где на улице яма вырыта полезно, а где бесполезно, ведь и так пройти негде станет, если кругом каждый для себя улицу перекопает. А что будет, если самовольно ковшом дорогу начнут ковырять для своего мусора? Нет, брат, на то закон и существует, его соблюдай и не будешь вреден другим. Живи без пакости, и жизнь твоя будет хорошая.

— Твоя жизнь разве хорошая? — попыталась ущипнуть мужа Фрося.

— Моя нормальная. У нас для хорошей жизни климатические условия слишком вредные. На морозе цемент неправильно застывает, смерзается, строить полгода невозможно. У нас рабочий человек, который честно работает и за свой счет существует, никому не вредя, очень хорошо жить не может. Зарплаты все одно не хватает, даже если вообще не отдыхать, как Паша Нюрин, работая круглосуточно и без выходных. В относительном достатке жить возможно. В лучшем случае. Своим горбом не нажить хором. Дом есть и, слава богу, а без дома вообще сгинешь.

Леонид остался в скучном настроении, слушая вразумительные речи тещи. Они не вдохновляли на подвиг, своего дома, увы, нет, значит, сгинуть можно зимой запросто, примерз вмиг — да шлеп на дорогу сосулькой-воробьем под валенки проходим. Никто не подберет, разве баба-кошка, которая чужое тепло любит.

Ларион отправился к трамвайной остановке, заедет к приятелю, у него переночует. «Все равно с Татьяной будут жить вместе, вот не ожидал такого счастья! Наудачу ехал. И приехал. Победа будет за нами, возражения не принимаются».

ПРО ЖИЗНЬ СОВСЕМ КРАСИВУЮ

Борька Шлык жил в тихом начальственном проезде, делившем квартал изнутри пополам, вдвоем с бабушкой в двухквартирном коттедже для начальствующего состава, со всеми удобствами, заметно выделяясь среди местной подрастающей мелочевки большой вихрастой головой, широким разворотом плеч и редким умением неподражаемо лягаться каблуками американских ботинок с высокими шнурованными голенищами, причем, одинаково хорошо, что левым, что правым.

В годы войны его дед служил секретарем парторганизации эвакуированного в Сибирь завода, а нынче отдыхал на персональной пенсии республиканского значения. После войны Борькины родители вернулись на родину, надо было удержать там оставленную четырехкомнатную квартиру, в то время как внука дед воспитывал самостоятельно в коттедже, ибо хорошая дополнительная жилплощадь с садом еще никакой семье никогда не мешала. Когда внука оставили второй раз на второй год в восьмом классе, не посмотрев даже на придирчивый характер героического предка, Боря решил более в школу не ходить, но и время зря не терять: сперва отгулять положенные законом каникулы, а там видно будет.

За умение бурно лягаться его еще прошлой осенью присмотрел в свою команду местный стилиста Веня Шило, назвав арьергардным бойцом.

Встал Шлык под Венино начало. Когда усталые и в очередной раз голову разбитые более матерыми шайками возвращались они домой с вечерних разборок на соседних улицах, где пытались качать свои мнимые права, Шлыку вменялось прикрывать тылы, он улепетывал последним: бегал неважно, зато лягался с силой ломовой лошади, так что преследователи быстро отставали. Естественно, доставалось Боре по такой диспозиции всегда больше всех: и доской по голове, и кирпичом в спину, но ничего, калган у пацана здоровый, доской не прошибешь. Так хвалил его Шило, празднуя в каком-то темном закоулке очередной рейд, раскупорив бутылку водки и пустив ее по кругу, с восхищением оглядываясь по сторонам, вдруг кто оценит, какие они блатари бесшабашные.

Ныне Боря стоял на горочке у дома Витьки-шофера, одетый в брюки клеш, перешитые из флотских, и коричневую вельветовую куртку со сломанным в драке металлическим замком, с открытой всем ветрам широкой грудью. Рубахи под курткой не было, зачем? Все равно порвут, вражины. Настоящий мужской вид, но не по моде, конечно, вчерашний день. По моде только Веня с братцем Аркашкой одеваются в пиджачки, брючки-дудочки, галстуки петушиных расцветок. Так ходят гулять по центральному проспекту с гитарой и девушками, задирают прохожих, а Боря с друзьями метет сзади клешами асфальт: если кто на Вению не так взглянет или ответит неинтеллигентно, тому экстренно чистят физиономию.

Сейчас Борю изнутри раздирало на три неравные части.

Во-первых, очень хотелось срочно бежать до компании, что собралась у ворот шиловского дома, где производилась обкатка новых мотороллеров, купленных родителями дорогим сыночкам Вене и Аркаше. Братья парили на вешине славы: все из себя супермодные, в брючках клетчатых, блестящих туфельках, желтых рубашках, их шикарные девицы тут же, не местные, центровые, в моднющих коротких юбках, аж глядеть страшно, как скользит материя чёрте куда с дамских бедер, стоит тем усесться на задние сиденья мотороллеров. Вокруг восхищенная братва разглядывает новые мотороллеры, а пуще того белоснежные ляжки центрально-городских девиц, коими те крепко обжимают водил. Лихо джигитую, братья катали красавиц из конца в конец квартала, поднимая столбы пыли. Какой шик! Какая слава начинается у шайки! Моторизованными станут все без исключения, вплоть до самого последнего члена банды, как настоящие американские гангстеры. Веня обещал братве: «Дайте срок! Дела такие сотворим, что у каждого будет по гоночному мотоциклу!»

Во-вторых, Борьке хотелось присоединиться к компании, игравшей в волейбол, там верховодил Женька Леденев, он и волейбольный мяч вынес. Время от времени Борька поглядывал то на одну компанию, то на другую, сильно мучился, однако оставаясь на прежнем месте, у шоферского дома, ибо рядом с калиткой стояла Витькина дочь Гутя, к которой Шлык давно и сильно неравнодушен. Эта была третья сила, самая мощная.

— Осенью в армию иду, точнее сказать во флот, — произнес он с ленцой в голосе, отслеживая взгляд Гути, уходящий в сторону волейбольного круга. — Писать будешь?

— Тебе еще семнадцать, а в армию с восемнадцати берут, — даже не удосужилась взглянуть Гутя, и презрительно плюнула в его сторону шелуху семечек подсолнуха.

— Все равно со школой завязал. Осенью на завод устройсь работать, классным специалистом по металлу буду. Сначала свинчатку себе отолью, потом наган сделаю. Женюру грохну стопроцентно, шибко распыргался.

Но Гутя сплюнула шелухой еще презрительней, молча, прямо Боре на американские ботинки. Похоже, красавицу интересовала исключительно игра спортсменов-волейболистов, даже новые мотороллеры гонщиков Шило не волнуют, не то, что наган. А вот как прыгает Женька Леденев — очень любопытная картина, и как он хлещет в прыжке по мячу тоже. Женька их сверстник, учится в техникуме по вычислительным машинам. Электронщиком будет. Боря знал, что Гуте нравится Женька, но что делать, если ему она тоже нравится? Не любят на квартале проездных, ох, не любят. И по наследству та нелюбовь как-то через поколения передается. С настороженным и презрительным слегда к себе отношением Боря сталкивался с малых лет. Но почему? Чем он хуже квартальных? Разве стала бы Гутя так цедить любому местному пацану? Нет, конечно. А ему — пожалуйста, в упор не видит, хотя прекрасно знает, что расположен к ней всей своей широченной душой. Шлык хотел обидеться, психануть, обложить деваху матом с ног до головы, но не смог.

— Дед сказал, если на завод устройсь работать, жениться смогу. «Потерял я над тобой контроль, — говорит, — так, может, хоть жена приберет к рукам». В другую половину дома решил отселить, где семейство главного инженера жило, я туда и кровать приволок запасную.

Гутя выплюнула шелуху, подразумевая под ней и Борины слова, и молчаливые мечты, будто ей сто раз на дню намекают про замужество. Вот чертова краля. А уж полногрудая, потому и в волейбол играть не идет. Талия фигуристая, а бедра! У Бори дыхание перехватило. Целый день бы безостановочно смотрел, только задохнуться боится или захлебнуться.

Девушка зло нахмурилась: братья-атаманы на мотороллерах с грохотом разорвали сплоченный круг волейболистов. Оно и ясно: волейболисты — сборная команда, а те сплоченная шайка, чужой кровью по-настоящему еще не повязались, так, слегда, из разбитых носов, но несколько пьяниц уже выпотрошили до нитки, про разоренные соседские огороды и говорить нечего. Против уголовной шайки никакая спортивная сборная не устоит. Поэтому Боря с Вней заодно. Женьке-электронщику они вместе морду расквасят, если что.

Внезапно в голове Бориски объявилась великолепнейшая идея, как завладеть девичьим вниманием без шума и пыли, дурацких уговоров, которые соседка все равно бесцеремонно игнорирует. Надо срочно выпросить у деда трофейный мерседес-бенц с кожаным верхом, который, правда, немного сгнил и порвался, да и сам бенц сто лет стоит в гараже без толку, прокатить Гутю с ветерком! Доверьтесь немецкому качеству! А мы вас так оттрахаем, что любо-дорого! От удовольствия прокатиться она вряд ли откажется. Не сможет устоять, ни за что не сможет. Подъехать гоголем, открыть дверцу: «... доннер веттер, фрау-мадам, я урок вам первый дам!» Водить умеем! Без прав, конечно, да зачем ему права? Один кружок вокруг квартала...

Боря аж подскочил на месте и, не прощаясь, но привычно взбрыкивая на лету, поскакал домой в проезд за шикарным немецким автомобилем с открытым верхом, слегда помятым, старым-престарым, против которого эти блестящие новенькие мотороллеры не стоят ломаного гроша! А после прогулки завести цыпочку на пустую половину, то-се, пятое-десятое, куда денется? Так, кровать есть, постельное белье только постелить, и можно начинать жить с Гутькой, где белье стирать?

— Дед, дай ключи от гаража, пора мерс проветрить. Я один кружок во-круг квартала и обратно.

— А на второй год кто остался? Боря Шлык? Хрен тебе теперь, внучек, а не машина, раз фамилию позоришь. Школу не смог окончить, это что та-кое? Как называется?

— Дедусь, в сентябре на завод пойду работать. Биографию пролетарскую зачну.

— Вот устроишься — тогда и поговорим.

— Завтра пойду и устроюсь, хочешь?

— Завтра и поговорим. А сейчас тащи тарелки на стол, ужинать пора.

— Противный ты, дед! Из-за тебя всех нас на квартале не любят. Даже разговаривать не хотят, будто мы враги какие, будто фашисты недобитые!

— Завидуют. Народишко сволочной попался, завидуший. Домишки у них — халупы, а у нас коттедж выстроен на их земле, сад. Помнят, мещане проклятые, кто их к ногтю прижал. Не хотят разговаривать — и не надо, без любви народной обойдемся, без нее даже лучше.

— Не завидуют, дедуля, презирают. Когда здороваются, в мою сторону не глядят. А если глянут, снисходительно, как на мелочь пузатую. Проржавеет, дед, твой мерседес, рассыплется на гайки, станет вроде консервной банки на свалке, тогда попросишь подвезти, а будет поздно.

Высоченный, костлявый дед вдруг схватил широкоплечего внука за груд-ки и легко потрянул:

— Что бы понимал в автомобилях, молокосос! Такими машинами только маршалов награждали! Эта награда выше ордена Победы ценилась! Впро-чем, и в жизни ни хрена не смыслишь, как я посмотрю. Думаешь, за что мне, какому-то секретарю заводской парторганизации, выделили маршаль-скую награду?

— Дед, успокойся, не гоношись, а? Все прекрасно знают: ты завод ваш эвакуированный здесь поставил и продукцию раньше срока выдал. Сто раз со всех трибун рассказал, как геройствовал, пока директор в больнице ле-жал с приступом, а главного инженера расстреляли.

— Слышал звон, да не знаешь, где он. Про что я с трибун кричал, про подвиг народный! А что на самом деле было, кто знает? Дурак ты, Борька, ни хрена не соображаешь: я людишек местных силой обрек забесплатно ра-ботать, надрывать, чтобы не умереть. Рабами их сделал, детей куска хлеба лишил и на голод обрек, но заставил за карточки без выходных ишачить. Вот что я свершил! И только потому мы завод в срок пустили. Начальства приехало двадцать человек, рабочих тридцать, с ними разве цеха возвести, линии запустить? А в городе тоже мужиков не осталось, до пятидесяти лет все мобилизованы. Те, кому за пятьдесят, и бабы тоже не хотят идти на завод за карточки надрывать — дураков нет. Зачем?

У них, мещан проклятых, небось свои хозяйства имеются, огороды в го-роде по десять соток, вот где гады устроились! Картошка, морковка свои, да и на продажу есть, буржуины настоящие: усадьбы целые развели, коровы в стайках стоят, да не по одной. Летом пасутся на окраинных заливных лу-гах, молока — залейся. Сметану сепараторами сбивают, масло делают, го-родские жители, ядри их в корень! Картошки в погребах — завались, на ней и поросю держать можно, мясо есть, масло есть, на хрена им мои карточки? А мне — край рабочие руки их нужны!

Отсюда что? Не имеете права, гады, так жить в военное время! Зада-ча моя отсюда была простая: срочно мещанский класс раскулачивать!

Посмотрел на это дело и в местный райком с предложением завалился: для завода нужен пролетариат, а у вас тут сплошь мещане государственную землю пользуют, так что, будьте добры, отдайте луга под заводские склады, хранилища, гаражи. Мигом отобрали выпасы. Потом бараки для рабочих, дома служащим где ставить? Возле завода? На свалке за городом? А фиг вам, через Москву затребовал срочно разрезать жилые кварталы частников с их усадьбами, огороды отобрать, на этой разработанной земле заводское жильё строить. Потому у квартальных огороды остались в одну грядку, а у нас вон сады цветут. Тут народишко местный сам и зашевелился, в ярмо полез. Коров пасти стало негде, делать нечего — порезали скотину. Огородов не стало, картошки нет, чего жрать прикажете?

Потянулись бабы со стариками да подростками в отдел кадров, вот на их-то горбу, на их костях мы завод и ставили. За кусок жмыха, пайку черного хлеба, понял, как народ держать надо? В ежовых рукавицах, чтобы ничего у него своего не было, тогда он твой раб на веки вечные! И по двенадцать часов в день! И без выходных и праздников! Но уж на благодарность не рассчитывай, конечно. Я их всего лишил, смертно надрывать заставил, с чего им нас, Боря, любить? Если наш управленческий коттедж старики строили, бревна на горбах с Горы таскали да загнулись? За то власть меня наградила по-маршальски, что я к народу беспощаден и соки из него жать до последней капельки умею. Хотя в верха не лезу. Ясно? Запомни, внук, у нас на народ оглядываться нечего, главное с властью в дружбе быть, ее интересы блюсти, все тогда у тебя будет, если, конечно, шибко не высываться и не выпендриваться. Умною из себя строить нечего, да у тебя и не получится. Ладно, хрен с ней, со школой твоей. Вот поработаешь на заводе работягой месяц-два, в комсомол вступишь и дуй по комсомольской линии, потом в партию помогу пробиться, рекомендации обеспечу, там женишься, отвоюем соседнюю квартиру, весь коттедж наш будет. До того погоди на мерседесе кататься. Ты мне живой и здоровый нужен, знаешь, какие планы у меня на тебя, Борька? Ого-го! Пусть мамаша с папашей в Харькове квартиру держат, а мы здесь на пару развернемся так, что чертям жарко станет.

— Машина мне нужна сегодня. Ясно тебе?

Боря плечом оттолкнул деда в сторону, забрал из комода ключи, решительно двинул к гаражу. Он чувствовал себя страшно взрослым, сильным и ему очень хотел усадить рядом на сиденье Гутю, а потом на полном ходу обнять изо всех сил, прижать грудастую к себе. Пусть попробует сопротивляться! Ничто не сможет тому помешать, никакие дедовы маршальские планы. Чего старый удумал — в комсомол Борю отправить! В школе не приняли, и, слава богу, лучше Боря стилиягой на мерсе будет проспект рассекать, девочек-чертовок катать, сперва Гутю уломает, потом центровых красавиц с белыми ляжками — вот где жизнь красивая начнется!

ВОСКРЕСЕНЬЕ

В воскресенье, прямо с утра — по холодку во дворе Дарьюшкиного соседа Кузьмы Фёдоровича, директора торговой базы крайисполкома, организовался всенародный праздник — день рыбака.

Еще в субботу прибыли деревенские родственники на служебном автобусе, следом подходил грузовик с рыбой и разъездной походный газик. Рыбы в колхозных прудах наловили много, привезли ее в туго набитых мешках, из которых сразу вываливали в большие оцинкованные огородные ванны —

обрабатывать, не откладывая в долгий ящик. Живучие караси шевелили золотой да бронзовой чешуей хвостов, и все это дело в ваннах переливалось в лучах брызнувшего из-за облачков вечернего солнца.

Само собой, Кузьма Фёдорович, чем мог, помогал землякам соорудить пруды, присылал из города необходимую технику: тяжелые бульдозеры, грейдер, трубы большемерные достал под плотину, задвижки, кому как не ему первому в них рыбачить?

Пенсионер персонального значения Шлык, с войны живший в двухквартирном коттедже с садом на задах сразу трех огородов: Кузьмы Фёдоровича, Дарьюшкиного и Витьки-шофера, через окно мансарды долго наблюдал сквозь пару сломанных очков, как деревенские родственницы соседней с Анной Фроловной во главе, сев вокруг ванн, обрабатывают серебристые да золотые слитки к празднику. Чистят их ножами так, что далеко вокруг разлетаются разноцветные искры чешуи.

— Ах ты, ворюга! — в сердцах возмутился Шлык, прикидывая количество свежей рыбы, доставшейся соседу практически задаром, и осел на деревянное раскладное креслице возле оконца, вычислив суммарный доход. — Куда бы сообщить по данному факту? Жалуешься-жалуешься, а все без толку, или не реагируют, или отписками занимаются, боятся Кузьму. Эх, нагрнуть бы к нему с контрольной проверкой, вот только не трест ресторанов огород Кузьмы. Напишу письменно все как есть, можете не беспокоиться: в прокуратуру — за использование служебного транспорта в личных целях — раз! В общество охраны природы — за браконьерский лов рыбы сетями — два! Уличному комитету — три, что Кузьма рыбные кучи в огороде наворотил — мух разводит и прочую кишечную антисанитарию.

Спустился с мансарды, взял бумагу и мелким, колючим почерком изложил в письменном виде вопиющее беззаконие, запечатал конверты, отнес на почту, вернулся домой и стал ждать ответа инстанций. Он всегда подписывался полностью: инвалид труда 2-й группы, персональный пенсионер, коммунист Шлык Г.Б. Ему скрывать нечего, он партиец кристальной честности: может в лицо любого пропесочить, может письменно правду-матку выразить, без всяких там деепричастных оборотов. Исполнив партийный долг, старый Шлык ощутил себя значительно лучше, практически в норме, оказался даже в состоянии разглядывать златые горы в соседском огороде без острой сердечной боли: «Погоди, Кузьма, будет и в нашем проезде праздник!»

Так вот, да, в воскресенье, с утра пораньше, по холодку в доме Кузьмы Фёдоровича испеклись огромные рыбные пышные пироги, сварилась рыбацкая уха, на больших сковородках дожаривались караси в невероятных количествах, их запах вылетал на улицу, и коли шла по дороге машина, обязательно попадала в облако рыбного ассорти, резко притормаживала.

Деревенские родственники расселись внутри огромного крытого двора на низких лавочках, словно на поляне у сельсовета, неторопливо разговаривая между собой, в то время как бабы заполошенно носились из дома в летнюю кухню да в огород за луком-укропом, по ходу дела медленно накрывался огромный стол, раздвинутый посреди двора, за который пятьдесят человек легко усядутся и локти сложат.

Приехал брат Анны Фроловны в синей праздничной рубаше, новых импортных туфлях, купленных в Красном магазине по бумажке от Кузьмы Фёдоровича; две сродные сестры: веселые, горластые певуны, весь субботний вечер просидевшие в огороде за чисткой рыбы; еще с ними

кума-прибауточница, еще дед Котлов — рыбак, с бабкой Феофанией, их двое внуков приехали ночь в городе переночевать, а днем в горпарке прокатиться на чертовом колесе и на качелях, чтобы полгода потом и думать про них не хотелось. Конечно, главный рыбак — Семён Михалыч, самый главный на празднике гость, который всему голова в вопросах природы, потом шофер газика служебного с базы Кузьмы тут же, а шофер автобуса получил свой мешок рыбы и был отпущен до вечера, вечером заберет гостей и доставит обратно в деревню. Еще присутствовала красавица Зоя, которую молва называла любовницей Кузьмы Фёдоровича, в то время как она была просто троюродной сестрой.

И надо сказать, действительно, женщина удивительной природной красоты: высокая, статная, молодая, незамужняя, с роскошной фигурой и черными бровями, словно крылья чайки распахнутыми, выразительными глазами, точь-в-точь у Кузьмы, а две его двоюродные городские тетки в новых платьях, купленных тоже в Красном магазине, лучшем в городе с дореволюционных времен, по его звонку пять лет назад, рядом с ней сидят, у тех глаза тоже ничего, но возраст свое берет. Их уж в любовницы не зачисляют. Кузьма платья на дорогих тетках увидел, узнал, аж пальцами прищелкнул от удовольствия: «Вот это я понимаю, товар! Класс». Тетки обрадовались, заговорили хором, перебивая друг друга: «Нам бы чулок тепер, Кузьма Фёдорович, уважь, все поизносились, чиним-чиним, а пятки на просвет светятся. Неудобно на босу ногу жить, как Орынке-порынке уличной. Чулок бы и еще какого... дамского белья».

Деревенские родственники презрительно отворотили носы: «Давно известно, что у этих городских совести нет ни на копейку. Еще никто ничего, за стол не сели, рюмки не выпили, а эти уже просят. Порядка не знают. Просить следует, песен попев да поговорив о жизни с родней семейно, напоследок». Однако же Кузьма расхохотался: «Дам, дам бумажку, сходите в магазин на неделе, будут вам и чулки, и белье дамское, рассаживайтесь за стол, пора, начнем помаленьку. Фёдор, Женька, скамейки к столу двиньте и бутылки открывайте».

Стол накрыт длинной-предлинной белой узорной скатертью, привезенной хозяином даже не из Москвы, а прямо из Германии, где хозяин побывал на Лейпцигской ярмарке стран содружества и всем в округе о том известно. Для своих гостей Кузьма Фёдорович ничего не жалеет, гулять так гулять! В хрустальных вазах самые простые домашние салаты с огорода: помидоры, огурцы, лук. Все перемешано, залито подсолнечным маслом по-домашнему, как любит Анна Фроловна: «Некогда мне тут с вами деликатесы сметанные устраивать, ешьте, что есть!» Однако большая чаша на высокой, стройной ножке содержит в обилии покупные ресторанные фрукты: виноград, яблоки — другие вазы полны самых лучших конфет шоколадных. Дорогой коньяк, которого никто, кроме Кузьмы Фёдоровича не любит и не пьет, лучших сортов водка, на которую налегают почти все, да вино сладкое для женщин. Кроме рыбных блюд, картошка пюре, бигус и котлеты навалом высокой горой. Изобилие необыкновенное! Коммунизм местного квартального значения образовался в крытом дворе директора базы. Вот, значит, как можно жить при социализме! Самому жить и другим давать.

По обычаю зять Фёдор взялся умело разливать по рюмкам и фужерам крепкие напитки, но, как всегда, от первой же стопки закосел — бесконечно добрая улыбка украсила симпатичное лицо, о своих обязанностях забыл, и далее наливать себе гости будут сами: кто, сколько и чего хочет. Ворота

на улицу открыты, через них заходят новые партии соседей. В числе первых явилась застенчивая Уляша — хотела просто позвонить по телефону, нет, конечно, телефон-автомат имеется через пару кварталов, однако, как правило, он неисправен, а у Кузьмы Фёдоровича — всегда пожалуйста, позвонила, разговорилась и осталась. Сосед Юрочкин по своим делам невесть куда медленно возле ворот тянулся, его Кузьма Фёдорович углядел, окликнул:

— Ты куда, сосед, спозаранку?

— Да в магазин, бутылочку к обеду взять.

— И не стыдно, Семён? Глаза разуй, какая на столе артиллерия сосредоточилась, иди, зови свою Клавдию, веди всех, сейчас приступаем к рыбному празднику.

Двор широк и светел, словно душа Кузьмы Фёдоровича, пол на всем протяжении ровно забетонирован, покрыт узорным разноцветным линолеумом, который в местных магазинах не продается, привезен из Москвы, и гости каждый раз не устают дивиться на него: что за невидаль? И твердо, и ровно, и пляши, сколько хочешь: хоть вприсядку, хоть трепака задай — ничего ему не делается. Выдумают же люди!

Сверху двор крыт высоким навесом, самосвал может въехать под такую крышу, по центру большое стеклянное окно вделано, потому светло как днем, к вечеру светильники изумительные красивые возгораются — на улице дождь, ветер, непогода, а у Кузьмы терраса, словно мраморный танцзал в ресторане: гуляй на просторе!

Дарьюшка входила в число заранее приглашенных — ближняя соседка как-никак. Заметив ее у ворот, Кузьма Фёдорович подскочил с места, под руку встретил:

— Заходи, заходи, Дарьюшка, прошу за стол, все вместе будем день рыбака праздновать!

— Правда, что ли, день рыбака сегодня?

— Ну прямо, — отмахнулась Анна Фроловна, — ты его слушай, черта, больше. Наловил рыбы — вот и день рыбака ему сразу. Лишь бы напиток под это дело!

— Рыбалка без водки не бывает! — сказал Семён Михайлович. — Посуху рыбак не ходит.

— Золотые твои слова!

Дарьюшка присела, приняла участие в разговорах и выпила рюмочку вина. Она всегда ограничивалась одной рюмкой. Кузьма знал и не принуждал, сам пил коньяк из маленького хрустального стаканчика, гости налегали на водку, веселье поднялось и от разговоров уже к проигрывателю оборотились. Завели пластинку с цыганочкой: «Нука-нука-нука-на!» Кузьма слушал, говорил, после третьего тоста широко развел руки и пустился в пляс. Заморив червячка салатами с пирогами, слегка захмелев, народ тоже поднялся из-за стола, пританцовывая, кто во что горазд, а прохожие, что шли мимо, заглядывали во двор: по какому случаю веселье сегодня у Кузьмы Фёдоровича? Не Женьку, случаем, женит? Нет? Ах, просто день рыбака местного? Да, спасибочки, не откажемся пирога испробовать под рюмочку.

Испробовав и выпив за рыбачью, а потом и за охотничью удачу, да за хлебосольный дом и радушных хозяев, скоро и приبلудный народ пускался в пляс. Количество гостей возросло неимоверно — пусть не весь квартал здесь, а добрая половина наверняка, про родственников и говорить нечего, родня для Кузьмы — святое дело. Через угловую дверь террасы выход в огород, там тоже народ расхаживает немалой делегацией с Анной Фроловной

во главе, на природе отдыхает, виды на урожай обсуждая между делом, как с огурцами у кого дела обстоят, а как с помидорами. Дарьюшка во всем участие приняла по мере сил, вспомнила молодость, четкетку выдала с выходом, забыв про больную пятку, в огороде с Анной Фроловной и деревенскими бабами обсудила сплетни, даже со Шлыком через забор поздоровалась, тому пришлось отвечать, как ни маскировался в кустах малины.

— Здорово, сосед, от кого прячешься?

— Здорово, соседка, не я прячусь, а в твоём огороде какой-то мальчишка под смородиновым кустом, точно, сидит. Ягоду ест. Иди, прогони, а то останешься в зиму без варенья!

— Не расстраивайся сосед, пусть поест ребенок, коли хочется, для детей мне ягоды не жалко!

Тем временем Кузьма Фёдорович расплясался с Зойкой на пару под цыганочку: «Нука-нука-нука-на!» Морда раскраснелась малиново, как бы приступ не хватил, раз дело-то было: в больницу прямо с гулянки увезли недвижимого хозяина с инфарктом, не бережет человек своего здоровья ни сколько. Тут и Дарьюшка задала трепака вокруг двора, не чувствуя под собой ног, а потом наскоро переговорила с хозяином насчет стульев. Кузьма подтвердил, что ничего не забыл, и в голове ее стулья держит, отдаст после того, как привезут ему новый чешский гарнитур. Тогда шесть стульев из прежнего гарнитура, польского, она сможет забрать. Не задорого, для проформы Кузьма Фёдорович назвал смешную цену — шесть рублей за штуку, итого набегает тридцать шесть, вот только где их взять?

Уляша выпросила трюмо. Кузьма не собирался трюмо продавать, хотел дочери Валентине подарить, но расчувствовался под цыганочку и согласился. Видя, что городские соседи зря времени не теряют, деревенская родня кинулась кланяться хоть чего-нибудь, хоть галоши новые к празднику, хоть досок кубометр на стайку взамен сгоревшей, а вот сапоги бы резиновые сорок третьего размера, так вообще полное счастье — две пары можно? У Кузьмы везде связи, Кузьма поможет. А без него кто им чего даст? Нет в магазинах ни досок, ни гвоздей, галоши редко бывают и в очень большую драку. Все африканцам помогаем с кубинцами, нам бы кто помог. Кроме дорогого Кузьмы Фёдоровича некому абсолютно.

«Эх, мать вашу! — думал Кузьма, наблюдая организовавшуюся вокруг него очередь. — За волшебника принимают, и даже в голову дуралеям не придет, на какие увертки приходится идти, чтобы удержаться на своем месте! Какие верха снабжать помимо плана с той же базы, где все наперед расписано, каждый лист шифера! Но что думать о плохом в разгар веселья? Сделаем, что сможем, может, даже чуть больше, а сейчас пляши и радуйся: веселись народ на день рыбака! Ешь, пей, гуляй!»

Вот кружок Юрочкиных рядом организовался — плясунов. Дарьюшка без смеха не могла смотреть на прибывшую компанию, оттерли они крестьянских родственников, им тоже что-то очень надо от Кузьмы Фёдоровича испросить. А лица у всех озабоченные предстоящим мероприятием и все как один в сером одеянии ношеном-переношеном. Семейства обоих братьев Юрочкиных пока скопом ютятся в одной комнатке и кухне, но уже набрались сил лить новый дом из шлака, которого на заводе хоть завались, а цемент с досками решили выпросить у Кузьмы, обступив его со всех сторон плотно гурьбой с ребяташками, привели их пирогов поесть.

— Сколько тебе цемента надо? — спросил Кузьма, резво хлопая себя по коленкам.

— Сколько возможно, — отвечал, притоптывая не в такт Семён, — буду строить помаленьку, из чего есть.

— Ладно, поскребем по амбарам. Приходи в понедельник... нет, завтра народу много и без тебя набежит, в четверг приходи на базу в мою приемную, приму. Чем могу — помогу.

— Спасибо, Кузьма Фёдорович!

Юрочкины освободили взятого в плен Кузьму и голодной каракумской саранчой бросились к столу. Анна Фроловна с деревенскими родственницами наливали всем по большой тарелке ухи, разрезали два новых пирога на куски, ароматно дымящиеся рыбным запахом, здоровенные, что лапти. Зоя танцевала с Кузьмой Фёдоровичем, когда тому вдруг сделалось плохо. Зять Фёдор подхватил тестя под руки, увел в дом на кровать, в парадную прохладу спальни.

— Опять нажрался коньяку под завязку, нехристь, — беззлобно сказала Анна Фроловна, — сколько раз ему говорила: «Не пей! Нельзя тебе!» Нет, не может без праздника жить, черт носатый. Вы ешьте, ешьте, ребятки, а вино не вздумайте пить, морса из варенья сейчас налью. Клавдия, рыбы много осталось, сейчас унесешь или потом?

Юрочкина Клавдия сообразила, что после гулянки она может и забыть с пьяных глаз про рыбу, сказала: «Сейчас». Ей дали полмешка уже чищенных карасей и окуней, который она тут же понесла домой, да не вернулась, начала варить уху, жарить, а остаток солить, чтобы потом в сарае подвесить для вяленья. С рыбой работы много, забыла мать семейства про гулянку. Но ничего, и без нее ребятишки на празднике рыбака от пуза наелись, никто голодным из-за стола не вылез.

Анна Фроловна оставила Зою сидеть при Кузьме, которому вызвали скорую помощь, врач приехал, поставил укол, но от госпитализации Кузьма решительно отказался, дескать, полежу маленько, отдохну, бывает. Полежал, сонно глядя на Зою, прося, чтобы ставили все время пластинку с цыганочкой и соседи танцевали под нее, и довольно скоро действительно оклемался, встал и вышел опять к народу, что вывалил множественно на улицу перед леденевским домом, где организовалась весело гудящая толпа, странная в иное время, кроме Первомайской да Ноябрьской демонстраций.

Всегда заботливый о порядке Кузьма Фёдорович нарушать его гостям не позволил, отправил на подведомственную территорию — обратно к праздничному столу, даже безвестную старушенцию, случайную знакомую чью-то, неведомо чью, которая проходила мимо народа, остановилась отдохнуть, послушать, о чем нынче люди добрые говорят, да присела на лавочку. А Кузьма Фёдорович поднял ее вместе с прочими, под руку проводил, усадил на почетное место, и самолично налил рюмку, не стал ждать, пока Фёдор с другой стороны дойдет, а Зое сказал принести тарелку с куском пирога побольше, уж больно старушка пришла в беленьком платочке тоща.

Чем далее праздник, тем более народа оказалось на улице, Дарьюшка даже решила, что хоронят кого-то, вышла со двора к дороге, и тут обмерла от ужасающей радости: народ-то все родственно-знакомый движется по улице меж Третьим и Четвертым, их, деревенский, одетый в самое лучшее, с узелками и ребятишками, как в последний раз, когда чоновцы-интернационалисты уводили всех из деревни. Как? Откуда? Почему? Куда? Вон тетка Авдотья почти бежит, старшие дети за юбку держатся, а самая младшенькая, Зинка, на руках плачет. И тогда плакала, не затыкаясь. Авдотья вместе

со всеми вглядывается пристально в горизонт с надеждой, иногда испуганно оглядывается и почти бежит, не замечая стоящую на обочине постаревшую племянницу...

«Тетка, Авдотья, тетка Авдотья, это я, Дарьюшка», — воскликнула старушка, торопливо семеня за воскресшей деревенской родней.

Но Авдотья прошла, не обернувшись, а совсем рядом с Дарьюшкой, почти задел, прошел, обдав холодным северным ветром, высоченный дядя Демка, брат матери.

«Дядя Демка, тятю с мамой не видели?»

Молчит дядька, смотрит вперед невесть куда, так далеко, что шею вытянул: смотрит, смотрит, а что видит?

«Братца Яшу береги», — услышала вдруг глас.

Бежала старушка за родней до края квартала, запалилась, оперлась о тополь, обмякла, в глазах круги поплыли, а беглецы где-то далеко впереди, пыль столбом за ними горизонт застит, то ли туманом небо взялось, то ли слезами. Не знает дядя Демка, что братца Дарьюшка не уберегла: бежала от душегубов, гнавшихся за ней, взявшись с маленьким Яшей за ручки, и когда не осталось ничего другого, как погибнуть самой, а не быть казненной уродами, подобно прочим девушкам, оставила его в кустах, сама же бросилась с обрыва в мутные воды. Винавата разве, что вода ее не приняла, несла-несла, на берег вынесла?

Вот так и живем теперь, вот так и живем.

ДОЛГОЖИТЕЛЬ ВАСЮТА

Занемогла Дарьюшка окончательно: ноги ходить отказались, руки не поднимаются, силы враз оставили — слегла пластом среди бела дня, чего прежде никогда не бывало. Как на грех Полина в больницу на сохранение легла, ну, конечно, соседки заглядывали проведать, пирожком угостить, но всем надо свои дома с хозяйством вести. А Дарьюшка совсем что-то плоха, на то сильно похоже, что дело к концу движется.

Ночью приснились Дарьюшке дедуся покойный с бабусей, словно бы снова дома на лавке у печи сидят и с ней разговор ведут: «Хватит тебе разлеживаться, внучка. Вставай, бери лукошко, клубок шерстяной в него клади да езжай с богом на родину: сколько лет дом без хозяев стоит, надобно навестить». Хоть Дарьюшка при смерти лежала, а получив наказ, легко восстала среди ночи, бесшумно собралась и канула во тьму городских улиц.

Не очень далеко на поезде ехать, в соседней области родина находится. Пшеница здесь не вызревает, а рожь со льном в их деревеньке знаменитые были. Приехала на место, лес свой нашла, а деревню — нет, и кладбища нет, повсюду бескрайние поля, на которых стоит-сохнет чахлая кукуруза без початков, по большей части заросшая овсюгом да лебедой. У озера сидел бородатый старичок с удочкой, в рваных штанах, рваной шляпе, одной рукой удил рыбу, другой не было. Ловля подвигалась бойко, то и дело поплавок из пробки нырял, и в небольшое ведерко плюхалась очередная мелкая рыбешка.

Присмотрелась Дарьюшка к стариковской ухватке, вспомнила:

— Здорóво, Поселенец.

Тот обернулся. Жевал, жевал взглядом, тоже догадался:

— Дашка, однако?

— Она.

Поплавок мелко сплясал, рыбак дернул удилице, сокрушенно полез за червяком в консервную банку:

— Обьели, коммунары. Зря ты вернулась: ничего здесь нет, рыба и то в мелочь выродилась, кроме гольянов ни хрена. Раньше-то, бывало, какие караси ходили! Как народ извели, ни одна зараза лед не долбила зимой, задохнулась рыба к чертям собачьим. А потом кто станет за столько верст бегать, лед долбить? Укрупнили деревни, свезли дома в одно место. Добивает Микитка последнее, на что у Ленина со Сталиным сил не хватило. Изживает деревню напрочь, хуже фашиста: тот жег, этот топит. Ты зря пришла, ничего здесь нет: ни домов, ни дворов, вишь, под поля распахали.

— А я помню, — перебила его Дарьюшка, сторожко оглянувшись вокруг, — как Ленин умер. Зимой, в страшный мороз. Собрали деревенских у сельсовета, с крыльца зачитали сообщение. Все плакали прямо на морозе, тятя плакал, и я заплакала.

— Дураки, — плюнул в сердцах Поселенец. — Вечно бессрочные. По Сталину, небось, тоже плакали?

— Нет, по Сталину не плакала, нечем было. Значит, от наших мест примет не осталось? А я хожу, смотрю-смотрю, понять не могу.

— Зря ищешь, кладбище и то запахали, уроды, у них ведь план по вспашке земель из года в год повышается!

— Ты в колхозе сейчас?

— Я-то? Нет, я в городе жил после войны, а потом сюда перебрался, землянку себе вырыл.

— На пенсии?

— Зачем? На своем довольствии состою. Как отменили плату за боевые ордена, роздал их ребятишкам — пусть играют, балуются с безделушками этими. Пенсии их позорной мне тоже не надо, пяти копеек в месяц. Дом детям отдал, сюда перебрался. В землянке печь сложил, рядом погребок отрыл, дров вокруг полно. Рыбу вялю, копчу, грибы сушу, на зайцев зимой силки ставлю. Существую вольной птицей вне рабовладельческого государства.

— Вот-вот. Точно. Слышала я, что в каком-то тридесятном рабовладельческом государстве раба, отслужившего семь раз по семь лет, тоже отпускали на волю: иди, старик, куда хочешь, выживай, как сможешь. Не так ли и с тобой приключилось? Может, специально тебя довели, чтобы ушел, куда глаза глядят и от пенсии отказался?

— На их пенсию надеяться — ноги протянуть. А может, и специально, кто их, трубадуров, знает, когда дудят каждый день про великий и могучий советский народ. Они до конца дней будут толкать людей под великие подвиги, как под поезд, нормальной жизнью жить не дадут. Пока не изведут весь род под корень, не успокоятся. Слава богу, здесь я вольный человек, а не кочерыжка зависимая.

— Из наших приходил кто?

— Никого не видал. Ты первая объявилась. Ну, от вас еще кое-что осталось. Вишь, сруб с той стороны стоит горелый — это ваш бывший дом и есть. Из него коммунары сперва, как вас свезли, избу-читальню устроили. Ясно дело — пьянствовали, заливали зенки самогонкой, чтоб не стыдно было народу в глаза смотреть, когда на смерть отсылали. А потом в доме по ночам-вечерам непонятное стало деяться, что одна любопытная приезжая с городу комиссарка в штаны с испугу наделала. Посадили стражу из самых беспробудных комбедовских. Сидят они ночью, самогонку хлещут, в карты режутся. И вдруг кто-то рядом, прямо над головами как дунет,

по-человечески: «Фффффууу!» Керосинка враз погасла. Такого деру коммунары дали, кто в дверь, кто в окно. Пустым дом остался стоять, потом возгорелся вдруг. Крыша сгорела, чердак начисто, сруб остался весь в углях. А что сгорит, то не сгниет, вот потому и существует.

Уж когда народу почти не осталось в деревне, людей всех выслали, куда Макар телят не гонял, когда сожрали-пропили чужой скот и припасы, коммунары наладились пустые дома сосланных разбирать и в город возить — продавать, чтобы, значит, можно дальше было хорошо жить бесплатно, покоммунистически. А ваш на своем месте остался, кому он, горелый, нужен? После войны колхоз поле себе распахал на месте деревни для районной сводки о посевных площадях, трактором отволокли его в сторонку, ближе к озеру, здесь теперь и стоит.

Зашла Дарьюшка в горелое отеческое гнездо. Пустое оно, внутри все угольно-черное. Пыталась разобраться, где печка стояла, на каком месте. За печью домовой жил. Бабка Татьяна их припугивала, когда раздерутся на печи: «Вот погодите, озорники, сейчас уже Васюха придет, он вас быстро успокоит!»

Маленькой Дарьюшке очень хотелось домового Васюху повидать, смотрела однажды, смотрела за печь, наблюдала, долго, уже все заснули, кроме бабки, сидевшей с лучиной за пряжей. И вот в последний момент, когда глаза закрывались, увидела Дарьюшка, как у дверей вроде клок сена быстро-быстро покатился, прошуршал! Наверное, Васюха.

Растет ныне в избе крапива в человечесий рост да лопухи. Притоптала старушка крапиву кругом, поставила в центр корзинку с клубком, а сама вернулась обратно к Поселенцу. Тот сразу возобновил разговор, соскучился, знать, по человеку, но уже не про старое, чего про него бесполезно вспоминать?

— Мы нынче с советской властью по нулям разошлись — я ее знать не знаю, живу на природе инвалидом-фронтовиком, она меня видеть тоже не хочет. Что там слышно насчет того, будто инвалидов войны будут в дома престарелых забирать?

— Ничего такого не говорят. Да разве хватит домов на всех инвалидов?

— А они по очереди. Сейчас, вроде, забрали всех безногих да безруких.

— Как же забрали? Возле магазинов с винными отделами толкуются на своих тележках.

— Во-во. Именно это властям и не нравится. Некрасиво, когда расхристаные в мать-перемать защитники страны у ларьков просят чарочку налить. Не должно такого в развитом социализме быть, когда уж до коммунизма по кремлевским часам совсем ничего жить осталось. И пенсию хорошую тем инвалидам тоже не хотят давать, чтобы уважали сограждане ратный подвиг. Куда проще замести покалеченных в боях защитников страны в учреждение лагерного типа, куда вход есть, а выход — извините, только на кладбище. Всех прибрали, говорят. Или врут?

Поселенец глянул на Дарьюшку пристально. Дарьюшка задумалась.

— А, между прочим, что-то в последнее время не видать стало тележечников у ларька. Может, и девали куда.

— Во-во. Ну со мной у них не скоро фокус получится. Власть любит по пенсионным спискам работать, пенсионеров уничтожать, чтобы деньги им не платить, а я в тех списках давно не значусь, вычеркнули. Поживу вольной птицей сколь бог даст, сам собою успею помереть. А ты, знать, с болот убегла?

— Убегла.

— Смотри-ка, значит, повезло кое-кому выжить. А в основном-то, чую, прибрался народ, пусто нынче у нас. Ты иди, пока не вечер. Рассуждаю сам с собой: может, и хорошо, что никого из наших не осталось, чистыми ушли. Не то бы тоже сейчас в пьяном угаре бегали-дрались, да матерились, да воровали. По-человечески путь свой завершили, хотя и под конвоем, но главное — вовремя, до нынешнего содома не дожили, бог не привел видеть.

— А вот скажи, Поселенец, почему не значусь я рожденной в своей деревне, из архива мне так ответили на запрос, когда копию метрик хотела получить. Будто бы нездешняя, будто меня вообще на свете не было и нет. Кто я тогда такая? Инопланетянка разве?

— О, чего захотела... метрики свои... забыла разве — сожгли городские коммунары нашу церковь, где метрические записи делались, значит, и документы сгорели. Эти черти людей на каторгу отправили, на смерть, а вдобавок и память о них уничтожили, заразы. Иди, Дарья, иди, бог с тобой.

Дарьюшка вернулась в родные стены, всплакнула там по всем родственникам, забрала корзинку и, попросившись с Поселенцем, ушла восвояси.

Вернулась в свою насыпушку век доживать, хотя желание было сильное навсегда остаться на родине, в горелом срубе шалаш поставить да жить.

Дома чашка вдруг на пол со стола как съедет, потом зола с искрами из холодного поддувала: ффрр! — фонтаном на пол.

«Чего серчаешь, не нравится тебе здесь? Посуду не бей. Дай отдохнуть маленько». В ответ Васюта зафыркал котом из-под кровати.

Среди ночи заголосил петух из подполья. Подполье совсем небольшое, ямка в песке отрыта. Пара мешков картошки с осени в ней помещается, кадушка капусты да несколько банок с помидорами, огурцами солеными. Ныне все пусто, но голосит именно оттуда, будто из курятника утром. «Нет, вы посмотрите на него, вконец обнаглел! Васюта, кончай шуметь!» Орет Васюта, не унимается.

Пришлось больной с койки подниматься, открывать лаз в подполье — там, естественно, никого и ничего. Одно ведро закрытое крышкой, да обвязанное тряпьем сто лет в наличии. С работы понемногу натаскала Дарьюшка дуста на всякий случай — обработку отхожих мест произвести, коли когда понадобится, и благополучно про него забыла. Ныне на дезостанции от дуста отказались, признав страшным ядом, губельным для всего живого, а у нее — гляньте: целое ведро в подполье практически под кроватью.

Выволокла Дарьюшка ведро с ядом из подполья да из дома, чуть не окочурилась, хорошо, Васюта угомонился. Через силу на работу отвезла, еле еле доперла: «Куда хотите свое добро давайте, а мне не надо».

И что любопытно, с того дня старушка пошла на поправку, за неделю выздоровела совершенно, будто в санаторий куда съездила, вот так-то воздух родины целебно человеку помогает, особенно на старости лет.